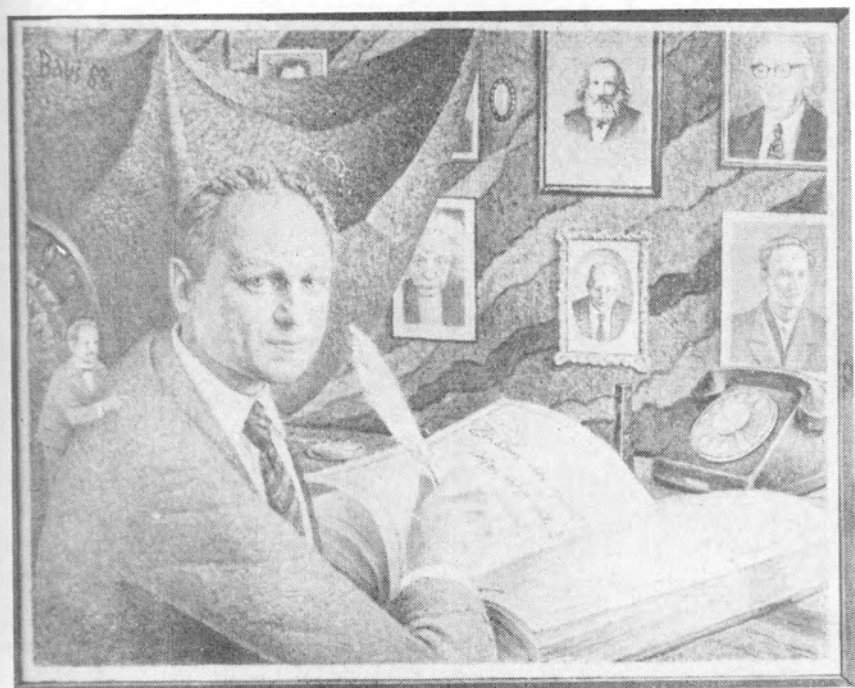


Дальний Восток

1989

12



Дусенлис Баушкенiekс.
Ян Страдынь пишет.
Фото
Хария Бурмейстарса

Даугава

1989

12

ДЕКАБРЬ (150)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В Н О М Е Р Е:

Проза и поэзия

- Альфред ХЕЙДОК.** Звезды Маньчжурии. Рассказы. Вступительная статья Роальда Добровенского 3
- Улдис БЕРЗИНЬШ.** Времена года. Стихи 22
- Мария КРАСАВИЦКАЯ.** На родине. Повесть 25
- Веннамни АЙЗЕНШТАДТ.** Стихи ухода. Предисловие Елены Макаровой 71
- Александр СОЛЖЕНИЦЫН.** Архипелаг ГУЛАГ. Окончание 77

Публицистика

- Ксения ЗАГОРОВСКАЯ.** Какие дети времени нам нужны! 93

Культурология

- Вадим РУДНЕВ.** «Назову себя Гантенбайн». (Имя собственное в культуре XX столетия) 103
- Джон Р. СЕРЛЬ.** Собственные имена 105

(см. на обороте)

В Н О М Е Р Е (окончание):

Картотека Юрасова. Окончание	111
Дмитрий ЮРАСОВ. «Сутками и литрами». Необ- ходимое послесловие автора-составителя . . .	117
Почта «Даугавы»	120
Содержание журнала «Даугава» за 1989 год . . .	123

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

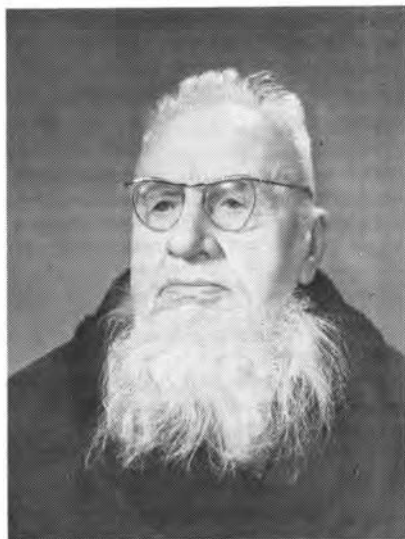
Редакция

Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

БЫЛЬ И ТАЙНА

Родина писателя Альфреда Хейдока — Латвия. Родился Альфред Петрович в 1892 году, и сегодня ему недалеко уже до столетнего юбилея. Подумать только: ко времени русско-японской войны, революции 1905 года он был уже подросток, все видевший и многое понимающий! На латвийской земле прожиты первые шестнадцать лет жизни, то есть годы, решающие для формирования характера, во многом и судьбы. Затем семья переехала в Тверскую губернию. Мирной, по-настоящему, хоть сколько-то предсказуемой жизнью юноше Хейдоку оставалось прожить лет шесть. А там — первая мировая; он идет на фронт добровольцем. О себе и своих товарищах он напишет позже: «Они солдатскими сапогами месили галицийские поля на великой войне; потом вернулись к отцовским очагам и не нашли ни очагов, ни отцов, а узнали, что они сами — буржуи и враги народа...»

В гражданской войне Альфред Хейдок оказался на стороне побежденных. С отступающей белой армией попал в Маньчжурию. В Харбине, а потом в Шанхае он становится известным как писатель. Судьба свела его с русским художником, мыслителем, общественным деятелем Н. К. Рерихом. В 1934 году в Нью-Йорке вышла в свет книга рассказов А. Хейдока «Звезды Маньчжурии». В предисловии к ней Николай Константинович Рерих писал: «... Рассказы эти прежде всего углублены качеством убедительности, этим редким отличием, свойственным лишь чему-то действительно пережитому, перечувствованному. Помимо увлекательного содержания и вдумчивого изложения они полны тех внутренних зовов, которые пробуждаются на древних просторах, на питанных славою прошлого. В каждом рассказе, безразлично, будет ли он основан на бытии современности или на далеких звучаниях великих наследий, всюду внимание останавливается на чертах больших реальностей, которые уведут читателя в область высоких представлений.



Альфред Хейдок.
г. Балхаш, 1979 год

Творчество А. Хейдока своими литературными качествами всегда нужно, но сейчас, когда поистине глаза всего мира устремлены на эти древние места, оно нужно особенно. Тем, кто много ходил по просторам Азии, особенно звучат быль и тайна, которые нигде, как в Азии, не сочетаются так убедительно».

Быль и тайна действительно присутствуют в рассказах Хейдока, взаимовысвечивая друг друга: быль всегда у него таинственна, тайна жива до осязаемости. Действие, происходящее на зыбкой грани яви и сна, исполнено драматизма; энергия события или даже приключения заряжает слово, а оно, в свою очередь, отдает эту энергию читателю. Рассказы Хейдока близки друг другу, в них сильно фамильное сходство, а их отдельные тайны как бы соединены с неким общим источником. За каждым, так сказать, физическим происшествием проглядывает приключение духа. Проза Хейдока нравственно требовательна и не чужда назидательности, что не мешает ей оставаться увлекательной. В определенном смысле Хейдок — реалист, и порой верности его глаза мог бы позавидовать самый дотошный бытописатель.

Я не касаюсь того круга идей, который стоит за посвящением, предваряющим нашу публикацию: тут отдельная тема. Хочу только напомнить, что и сам Н. К. Рерих, и его жена Елена Ивановна тоже были связаны с Латвией, и в ряду неслучайных случайностей, какими изобилует жизнь Альфреда Хейдока, может быть, есть смысл не упустить и эту.

... В 1947 году писатель вернулся в СССР, причем продолжал переписываться с Рерихом и даже, кажется, звал его на родину. Неизвестно, какова тут была роль Альфреда Петровича, но Рерихи действительно собирались вернуться в Россию всей семьей, уже и картины были уложены в сотни ящиков, и рукописи, книги ждали отправки. Но смерть распорядилась иначе — 15 декабря 1947 года тело умершего художника было предано огню в саду дома Рерихов в Кулу, в Индии ...

И уже вскоре Альфреда Хейдока допрашивали «где следует» о переписке с «английским шпионом Рерихом». Арестовали и сына. На допросах Альфред Петрович заявил, что гордится своим учителем Рерихом и дружбой с ним. Приговор: десять лет лагерей на Крайнем Севере.

Сейчас Альфред Петрович Хейдок живет в городе Змеиногорске Алтайского края. Ему 97 лет. Он слеп, но, по рассказам, сохраняет удивительную силу духа. Несколько книг написаны в последние десятилетия; писателю помогает секретарь Людмила Ивановна Вертоградская. Правда, за все время в СССР состоялась, насколько известно, только одна газетная публикация: две новеллы Хейдока и рассказ о писателе критика Владимира Бондаренко («Литературная Россия», 14 июля 1989 года).

В этом и следующем номерах «Даугавы» мы публикуем семь рассказов из книги Альфреда Хейдока «Звезды Маньчжурии» по рукописи, присланной нам из Змеиногорска. По словам В. Бондаренко, во всем мире осталось всего несколько экземпляров этого редчайшего издания.

По-видимому, не всем окажется близка та духовная традиция, с которой так тесно связано творчество А. Хейдока. Но неравнодушного взгляда эта проза заслуживает в любом случае: так по-русски «уже не пишут», есть тут что-то утерянное и невозобновимое, как в искусстве старых мастеров, ковавших булат или ставивших храмы. Приоткрылась еще одна страница русской словесности, да и вообще культуры. Если уж употреблять неразлучные эпитеты: «единая и неделимая» — их без спору можно отнести именно к отечественной литературе. Все попытки раздробить ее, разделить на «здесьнюю» и «тамошнюю», отлучить одни эпизоды от других, одни имена выпатить без причин, другие вычеркнуть, — терпели поражение рано или поздно.

Рольд ДОРОВЕНСКИЙ

ЗВЕЗДЫ

МАНЬЧЖУРНИ

РАССКАЗЫ



Альфред Хейдок.
Харбин, 1930-е годы

Моему великому Учителю Н. К. Рериху, чьи произведения, как кисти, так и пера, служили мне светлыми маяками в оглушающем мраке жизни, с благоговением преподношу свой скромный труд.

Харбин, 11.09.1934 г.

А. Хейдок

ТРИ ОСЕЧКИ

РАССКАЗ ВОЛОНТЕРА ИЗ РУССКОГО ОТРЯДА
ЧЖАН-ЦЗУ-ЧАНА.

1

Мне безумно хотелось пить. Помню, что мучительная жажда натолкнула меня на мысль о существовании таинственного дьявола, специально приставленного ко мне, чтобы он пользовался малейшей моей оплошностью и причинял страдания . . . Чем же иначе объяснить, что час тому назад, когда наш отряд проходил китайской деревушкой с отменным колодцем, я не пополнил своей фляжки?

Но тогда я совершенно не ощущал жажды — она появилась спустя самое короткое время! А последний глоток теплой жидкости пробудил во мне яркую мечту о затемненных ручьях, с журчанием переливающихся по мшистым камням с дрожащими на них алмазными росинками, и о таких количествах влаги, по которым свободно мог бы плавать броненосец . . . И я всю ее выпил бы! . . .

Точно в таком же состоянии, надо полагать, находился Гржебин, правый от меня в стрелковой цепи; убедившись, что у приятеля тоже ни капли не раздобудешь, он пришел в дикую ярость и стал ожесточенно стрелять по невидимому неприятелю, залегшему, точно в куче

опенков, меж пристроек древней кумирни. Последняя всем своим до крайности мирным видом, с купами тополей и низкими башенками, так наивно и просто глядевшими на нас, являла собою как бы воплощение горестного недоумения по поводу тарарама, какой мы тут под-няли.

Свое занятие Гржебин продолжал с такой поспешностью, что вызвал во мне подозрение о старом солдатском трюке: пользуясь первым удобным случаем, поскорее расстрелять обременяющие запасы, оставив лишь действительно необходимое количество зарядов . . .

— Ты чего там расшумелся? Разве кого-нибудь видишь?

— А то нет? — злобно отозвался Гржебин. — Можно сказать — всех вижу! . . .

— Пре-кра-тить огонь! — торжественно провозгласил взводный командир, начав с повышенного голоса и, как по ступенькам, с каждым слогом понижая его.

Причину распоряжения мы тотчас же уяснили: над нами, брюзгливо и злобно шипя, с присвистом пронесся первый снаряд полевой батареи — стало быть, «кучу опенков» решено разнести артиллерией.

Молчание водворилось по нашей цепи. Из собственных локтей я соорудил подставку для колючего подборodka и равнодушно уставился на обреченную кумирню — там, мол, теперь все пойдет по расписанию: земля разразится неожиданно бьющими фонтанами взрывов; невозмутимо спокойный угол ближайшего здания отделится и сначала, полсекунды задумчиво, а потом стремительно обрушится и погребет под обломками двух-трех защитников, а то — целую семью . . . Мечущиеся с места на место фигуры, охрипшая команда — все это покроется ревом пожара, а поле за ним усеется бегущими серыми куртками . . . Мы будем стрелять им вдогонку, и так изо дня в день, пока . . . К черту «пока» — волонтер меньше всего думает о смерти! . . .

— Смотри, как перья летят! — крикнул мне Гржебин, указывая рукою на храм: с него роем слетели черепицы и в стене показалась брешь. — Каково-то богам, а?

Мне не понравилась злобность его замечания: разве смиренные лики Будды не являлись такими же страдательными лицами, как мирные поселяне, которым генеральские воины жарили прямо в загрибок? Финал уже наступил. Осипшая глотка командира изрыгнула краткое приказание — наша цепь бегом пустилась к полуразрушенным зданиям. В неизбежной суматохе, которая неминуема в атаке и всегда вызывает презрение у истинного военного, ибо нарушает стройность шеренги, я и Гржебин неслись рядом, обуреваемые не кровожадностью, а единственно желанием поскорее добраться до колодца.

И все-таки мы добежали далеко не первыми: муравейник тел копошился у колодца, стремительно припадая к туго сплетенной корзинке, заменяющей у китайцев христианскую бадью. Эти несколько минут задержки между томительным желанием и его осуществлением переполнили у Гржебина чашу терпения, к стати сказать, отличавшуюся удивительно малыми размерами . . . Потоптавшись на месте, как баран перед новыми воротами, он вдруг разразился многоэтажной бранью.

— Посмотрите! — кричал он, указывая пальцем на уцелевшую в глуби полуразрушенного храма статую Будды. — По этой штуке было выпущено шесть снарядов — сам считал! Все кругом изрешечено, а эта кукла цела — хоть бы хны! . . . Можно подумать, что тут ребяташки забавлялись, бабочек ловили. Ха-ха-ха! Клянусь — сегодня он будет с дыркой! — закончил он неожиданным возгласом и торопливо стал закладывать новую обойму в винтовку.

— Не трожь чужих чертей! — хриплым басом пытался увещевать его бородач, забайкальский казак. — Беды наживешь!

Но было уже поздно: Гржебин спустил курок. Мы услышали звонкую осечку — выстрела не последовало. Это произвело такой эффект, что несколько голов со стекающей по щекам водой оторвались от ведра и вопросительно уставились на стрелка.

— Я сказал — не трожь . . . — начал было опять забайкалец, но Гржебин, моментально выбросив первый патрон, вторично спустил курок и . . . опять осечка!

Жуткое любопытство загорелось во всех глазах. Многие повскакивали и полукругом окружили стрелка, который с бешенством вводил в патронник новый патрон и сам заметно побледнел. Я понял — бессмысленное кощунство, обламывающее зубы об молчаливое, но ярко ощущаемое чудо, явилось тем именно напитком, который мог расшевелить нервы таких ветеранов, как эти огарки всех вообще войн последнего времени.

Я застыл в страстном ожидании. Мои симпатии неожиданно свершили скачок и очутились всецело на стороне задумчивой, со скорбным лицом фигуры в храме; я с трепетом ждал третьей осечки: как дани собственной смутной вере в страну Высших Целей, откуда иногда слетали ко мне удивительные мысли . . .

И она стукнула явственно, эта третья осечка . . .

— Довольно! — закричал я, вспомнив, что у Гржебина еще осталось два заряда, но тут произошло нечто: Гржебин еще раз передернул затвор и с изумительной стремительностью — так, что никто не успел и пальцем пошевелить — уперся грудью на дуло, в то же время ловко ударив носком башмака по спуску.

Выстрел последовал немедленно.

— Это был сам черт! — прохрипел Гржебин, обливаясь кровью и падая, со сведенным в гримасу лицом.

— Эй, санитары!

Гржебина в бессознательном состоянии уволокли санитары, а осмотревший его фельдшер на наши вопросы — выживет ли? — безнадежно махнул рукой.

И тогда мы поставили молчаливые точки над жизнью товарища и отошли, чтоб в бесславной войне прокладывать путь к вершинам власти китайскому генералу, очень щедрому, когда он в нас нуждался . . .

Но мы все ошиблись: эпизод имел странное продолжение, и я при нем присутствовал. Это произошло в старых казармах в Цин-ань-фу, когда на меня внезапно навалилась тоска, ностальгия или как еще ее там называют . . . Последнее для каждого волонтера равносильно самому категорическому приказанию — пить! Пить все, что можно достать в ближайшей лавчонке, баре или в другом месте, не исключая и самого свирепого китайского пойла, прозванного русскими «ханьшей». И с бутылкой этой умопомрачительной жидкости я забрался в каморку фельдфебеля, которого, кстати сказать, никогда не покидало мрачное настроение . . .

Мы мало разговаривали. За перегородкой изнывающие от безделья волонтеры тянули одну из бесконечных солдатских песен вроде:

О чем дева плачешь,
О чем слезы льешь . . .

Все это создавало тягуче-минорное настроение, точно бодрость и еще теплящийся фонарик надежды, тускло мерцающий на мачте человеческого бытия, со всех сторон обступал океан, колышущийся в

бесшумной мертвой зыби, и гонимые немой отчаянием неприкаянные ключья облаков ползли по равнодушному, как крышка гроба, ночному небу.

Я выпил еще, и во мне стало просыпаться желание говорить: жестокий хмель, печальная песня и сознание собственных непростительных ошибок в почти загубленной уже жизни совместными усилиями раскрывали врата буйному словоизвержению. В нем разряжался вольтаж неудовлетворенных желаний вперемешку с гордыми, но малопродуктивными заявлениями, что я, филолог и аристократ духа, собственно говоря, очутился в этом захудалом отряде вовсе не из нужды, как это может показаться несведущему человеку, а исключительно из-за любви к сильным ощущениям . . . В том не будет ничего невероятного, и я, может быть, завтра уйду из отряда, чтобы занять достойное место среди себе подобных . . .

— Ты — великий человек, — убедительно сказал фельдфебель. — И я тоже, — прибавил он, немножко помолчав. — Завтра мы уйдем вместе; давай я тебя поцелую, мы братья!

Он потянулся ко мне, но на полдороге остановился: в дверях каморки стоял тот, кого мы считали давно погребенным, — Гржебин. Тут только я вспомнил, что несколько минут назад пение за стеной оборвалось — там царствовала тишина, водворенная чьим-то, поразившим умы волонтеров, внезапным появлением.

Пока Гржебин молча приближался, мы рассматривали его, как невиданную закуску на конце вилки. Он был бледен и, как видно, слаб еще после продолжительной лежки в госпитале; но, в общем, никаких разительных перемен в нем не произошло — по крайней мере таких, которые, кроме неожиданности, могли бы оправдать вызванный им удивительный эффект: наше пьяно-счастливое и проникнутое сознанием каких-то особых заслуг настроение сжалось, свернулось в жалкий комок, точно пес, получивший пинка . . .

— Что . . . не ожидали? — выдавил Гржебин, смущенный нашим неловким молчанием.

— Как не ожидали! — точно очнувшись, тряс его руку фельдфебель. — Можно сказать — вот как ожидали!

Мы усадили его за стол и усиленным угощением старались загладить неловкость встречи. Пока Гржебин отправлял в рот куски снеди, тут же нарезанной моим большим складным ножом, и рассказывал про свое чудесное выздоровление, буквально поразившее персонал госпиталя, я все время не мог отделаться от странных ощущений, как будто уже раз испытанным мною, я силился вспомнить и, наконец, мне это удалось.

Где-то во время своих скитаний по такому непохожему на другие страны Китаю мне пришлось провести час на одиноком, без растительности холме из буро-красноватого песка с галькой. Он находился верстах в двух от серого, незначительного городка, меж двумя расходящимися дорогами и весь, как сыпью, был покрыт конусообразными могильными насыпями.

Вот там, на этом холме, я испытал нечто похожее: сознание близости закоченевших фигур в крепких деревянных гробах под землей; неестественно жуткий покой мертвых, чьи души, согласно верованиям китайцев, отошли в распоряжение неведомых властелинов неба или земли — смотря по заслугам; каменную непреклонность закона смерти и явно ощущаемое присутствие силы, имеющей власть распоряжаться в царстве мертвых . . .

Убеждение, ясное и непоколебимое, что эта именно сила вошла вместе с Гржебиным и одним взглядом тускло мерцающих зрачков убила

нашу жалкую радость, наполнило меня непонятым отвращением к бледному человеку, пьющему мое вино.

Я не считал себя суеверным человеком, но должен признаться, что в тот момент убедительными мне представились рассказы китайцев о людях, находящихся в отпуске у смерти: они всюду вносят с собой дыхание потустороннего и в их присутствии умирают улыбки.

До сих пор не могу простить безудержности собственного языка: не выскажи я своих мыслей — может быть, ничего бы и не произошло! Но я не мог: странное ощущение распирало меня — что случилось, то случилось.

Гржебин усиленно старался быть веселым, говорил без умолку, натянуто смеялся, несмотря на наше подавленное молчание, но я встал и заявил, что иду спать.

— Что ж так рано? — спросил Гржебин, указывая на недопитую бутылку.

— Тебе весело, а мне не весело! — ответил я заплетающимся от хмеля языком. — Удивительное дело, — прибавил я еще, — как это некоторые люди не замечают, что за ними тащится кладбище!

Могу поклясться, что, начав говорить, я вовсе не имел в виду кончить этими словами — все вышло как-то непроизвольно, но эффект был поразительный.

— И ты тоже это заметил! — воскликнул Гржебин, хватаясь за голову и съезжаясь, словно от удара.

Я увидел невыразимую боль на его лице; жалость охватила меня, пока он разряжался сумбурной речью... Да, да... Он сам великолепно знает, что после того проклятого дня, когда ему вздумалось продырявить статую в кумирне, с ним что-то случилось: он стал чувствовать себя как бы мертвым... В госпитале раненные китайские солдаты, которым почему-то стало известно его приключение, сторонились его и просились в другую палату, ссылаясь на невыносимо тягостную атмосферу, якобы окружающую его. Но он надеялся, что казарма и старые товарищи не будут так чувствительны... Однако — нет! Бредни оказались сильнее взрослых мужчин... Ему остается только поскорее избавиться себя и других от этих тягостных переживаний, которые могут свести с ума... Он уже раз умирал и таким образом расплатился за первую осечку... Если «те» настаивают (не объяснил, кто «те»), но произнес это слово повышенным голосом), так он не прочь заплатить и за вторую...

Нож, лежащий на столе, словно как совершил прыжок, чтобы очутиться в его руке, а мой хмель улетучился без остатка при виде человека, который быстро нанес себе несколько ударов лезвием, стараясь перерезать горло.

Я и фельдфебель бросились на него и вырвали нож, но должны были сознаться, что слишком поздно: на беглый взгляд ранения не могли кончиться выздоровлением.

II

И все-таки он выздоровел и явился обратно в свою часть, откуда по собственной просьбе был переведен на бронепоезд. Я тоже перевелся бы на его место: не надо было иметь много прозорливости, чтобы на всех лицах читать болезненное любопытство и плохо скрытую уверенность, что расплата за третью осечку неминуема. В это верили все и об этом говорили слишком громко, — речи могли доходить до его слуха.

Теперь мне известно, что на бронепоезде ничего не знали о его предыдущих похождениях, и поэтому его смерти, последовавшей во время ночного боя, смерти при захлебывающемся такании пулеметов, со вспыхивающими во мраке огоньками ответных выстрелов и напряженной суетой перебежек, — не было придано никакого сверхъестественного значения.

Но меня — меня мучает все происшедшее, поневоле напрашивается вопрос: о чем оно свидетельствовало?

О том ли, что я и другие, бывшие свидетели этих сцен, своим необдуманным поведением и намеками наталкивали Гржебина на мысль об его обреченности, которая в результате превратилась в манию, или же — то было наказание, низринувшееся из таинственного мира неведомых сил, за кощунственное поведение?

Кроткий лик Христа чудится мне в поднебесье, и мне хочется воскликнуть:

— Ты, о Ты, Всепрощающий! Доколе ты будешь переносить поругание Твоих храмов, что камень за камнем кощунственной рукой растаскиваются на моей родине? Разве действительно нет предела твоей кротости, необъятной, как эфирный океан Вселенной?

МАНЬЧЖУРСКАЯ ПРИНЦЕССА

Когда меня, как единственного друга художника Багрова, спрашивали, почему он так внезапно исчез из Харбина и где он теперь, я отвечал пожатием плеч и коротким «не знаю», а в большинстве случаев отделялся молчанием, потому что Багров категорически запретил мне говорить об этом вплоть до назначенного им дня. Впрочем, меня скоро и совсем перестали спрашивать о нем; память об исчезнувшем подчас бывает не долговечнее тени бегущего по небу облачка, хотя боль и искажала мою улыбку. А однажды она стала похожей на плач, когда один из моих знакомых сообщил, что видел Багрова в Шанхае, в баре. Он был, будто бы, в элегантном костюме и белой панаме . . .

Я улыбнулся, чтобы не заплакать: только я один знал, что Багрова нет в Шанхае, не было и никогда там не будет, что он уже подошел к той границе, за которой теряется след человеческий и начинается тропа вечности. Но я не мог говорить об этом! Не мог, вплоть до сегодняшнего дня, когда я, наконец, получил то, чего ожидал со страхом, все еще в глубине души надеясь, что земная жизнь, полная радужных мечтаний и зовущая к отважной борьбе, перетянет чашу весов с жуткими потусторонними тенями и мой друг будет жить . . .

Но надежда была слаба, как болотный огонек, живущий до первого дуновения, и сегодня утром предчувствия так стеснили мою грудь, что я то и дело бросал боязливые взгляды в окно на пустынный переулок, в ожидании посланца с известием о смерти моего друга. И когда хозяйка пришла сказать, что оборванный буддийский монах звонит у дверей и требует меня — я был совершенно подготовлен к этому и спокоен. Я даже поправил хозяйку, сказав, что это не буддийский, а даосский монах, хотя — где же ей разбираться в этом и для чего?

Я перешагнул порог и на веранде встретил взгляд сухощавого, спокойного и бесстрастного — как маньчжурское небо, как степь — монаха.

Не говоря ни слова, он передал мне сверток, низко поклонился и сразу стал спускаться обратно по лестнице. Я пытался его остановить, хотел

пригласить в комнату, подробно расспросить, но он не останавливался и, поклонившись мне еще раз на ходу, ушел.

Тогда я понял, что ему дан был приказ не вступать в разговоры.

Я заперся в комнате и развернул сверток, хорошо зная его содержимое. С шуршанием оттуда выпала картина моего друга — «Маньчжурская принцесса» и лоскуток бумаги с нацарапанным слабеющей рукою: «Свершается. Б.».

И чем больше смотрел я в нездешние глаза девушки на картине, тем больше во мне зрела решимость раскрыть перед людьми тайну исчезновения Багрова, рассказать про «Маньчжурскую принцессу» и таинственные тропы, уводящие живых в вечность.

И еще захотелось мне дать хоть слабое понятие о душе человека и художника, который всех поражал неистовством своей необузданной фантазии; художника, который создавал полотна, где горы давили зрителя своей тяжестью, где ясно ощущались тысячелетия, застрявшие в змеевидных ущельях, и где в причудливых сплетениях корчились тела с запрокинутыми в исступлении страсти головами. Пышущие пламенем губы рвали там огненные поцелуи с задымившихся ртов . . .

Да, этот человек всегда отличался от нас, обыкновенных, уравновешенных людей. Только он мог, покидая концертный зал, изливаться мне в странных жалобах:

— Почему мир так жесток? В нем есть волшебные звуки, музыка, говорящая духу и окрыляющая его возвышенным обманом о любви и вечной красоте, которых мы никогда не встречаем среди людей! . .

Этот он, первый раз услышав гавайскую мелодию, распродал все пожитки и поехал на родину этих стонущих мелодий, чтоб остаться там навеки. Но так же быстро он вернулся оттуда, возмущенный, и говорил, что Гавайи — громадный публичный дом для команд и пассажиров тихоокеанских судов! По его мнению, счастье и любовь покинули эту страну, как только там стали высаживаться купцы и чиновники цивилизованных стран. Он был жестоко обманут!

И гибель этого человека началась как раз с того дня, когда он приехал ко мне, в затерянный в горной стране Чен-бо-шань китайский городок.

Я сдавал там китайскому коммерсанту партию жатвенных машин и имел неосторожность написать Багрову про прелесть окрестных гор с вечно-сизой пеленой дымчатого тумана и про девственные трущобы.

А через три дня после отправления письма Багров рано утром появился в моей комнате и со смехом стал тормошить меня в постели: я еще не вставал.

В тот же день, после обеда, сытые маньчжурские лошадки затрусили под деревянными седлами, унося нас в горы, которые мне хотелось показать своему другу.

Багров шутил и смеялся всю дорогу. Впоследствии я не раз задумывался, как этот человек, такой чуткий, реагирующий на тончайшие влияния, не учуял роковых последствий этой поездки? А впрочем, то, что нам кажется несчастьем, для него было, может быть, — наоборот!

Мы проехали часа два, и тогда я протянул руку:

— Вот, посмотри!

Видели ли вы когда-нибудь некоторые из удачнейших творений Рериха? Замечали в них за каким-нибудь холмом нашего севера, ничего особенного собой не представляющим, неизмеримую глубину бледных северных небес, в которой вы сразу чувствуете седую вечность, космическое спокойствие и такую даль, будто она раскинулась за гранью недостижимых миров?

Одного взгляда на такую картину уже достаточно, чтобы вас потянуло и понесло ввысь . . .

Такова была и местность, куда я привел Багрова.

Долина, стиснутая с обеих сторон мощными скатами, быстро расширялась по мере продвижения вперед, переходила в широкий луг и заканчивалась с третьей стороны тупиком, упирающимся в полушарие мягко закругленного холма. В противоположность окружающим вершинам, на этом холме не было леса, а весь он, как ковром, был устлан светло-зеленой травой и испещрен огненными одуванчиками, ромашками и еще массой белых цветов.

Лишь один этот холм блистал в солнечных лучах среди хмурой и сумрачной зелени окружающих высот.

Был ли то закон контраста или что-то другое, недоступное человеческому разуму, но, как нигде, невыразимая даль и глубь небес чувствовались над ним.

И вся она, эта возвышенность, казалось, прямо подставляла могучую выпуклость своей груди ясному небу, чтобы постоянно глядеть в очи Предвечного и прислушиваться к шелесту его одежд в облачных грядках . . .

И еще тут, на середине расстояния от подошвы холма до вершины, было нечто, останавливающее внимание: обнесенный стеною из серого гранита четырехугольник с двумя траурными аллеями у входа и могильными холмиками. Посредине — место вечного упокоения. Оно разливалось по этому, цветами усеянному холму очарование светлой грусти, ненарушимой тишины сна, смерти и покоя, рожденного вечностью.

— Какая красота! — прошептал Багров, соскакивая с седла. — Во всем мире не найдешь другого места, где бы земля так говорила с небом!

Он быстро установил мольберт и приступил к работе с лихорадочной поспешностью. Через несколько минут он уже перестал мне отвечать — признак, что он видит только пятна, тени, а я . . . я уже не существовал для него.

Привязав лошадей, я сел в тени каменной ограды и задумался — кто бы мог тут покоиться? Кладбище это — не общественное . . . Наверное, какой-нибудь знатный мандарин императорских времен выбрал это место для себя и своего поколения. И спят они там, укутанные в тяжелые шелка, — сын рядом с отцом, муж с женой . . . Мысли все ленивее копошились в моем мозгу, и — сон смежил мои глаза.

Это было довольно странно: днем я обыкновенно никогда не спал, а тут, казалось, какая-то посторонняя, чужая сила наполнила мой мозг туманом и погрузила в глубокий сон.

Когда я открыл глаза, я удивился, что солнце уже заходит! После краткого размышления решил, что прошло уже не менее трех часов. А что же Багров? . . . Где он? Я обогнул угол ограды и направился к нему. Мои первые шаги были тяжелы и неуклюжи: остатки сна еще сковывали члены, а потом . . . я побежал; Багров в неестественной позе лежал навзничь у подножья мольберта. Он был без сознания, а с полотна глядела законченная картина, где живая, между двух елей, стояла девушка в древнем одеянии принцесс Цинской династии.

Обаятельную прелесть и какое-то нездешнее выражение лица этой девушки я разглядел лишь впоследствии, а в тот момент бросился приводить в сознание своего друга.

Это мне удалось с большим трудом, но каково было мое изумление, когда Багров, как только открыл глаза, задал вопрос:

— Где девушка?

— Какая еще девушка? Я спал и ничего не знаю о девушках . . . Во всяком случае, на добрый десяток верст кругом их в помине нет. А если бы даже отыскалась какая-нибудь, то, конечно, не принцесса, а из тех дочерей крестьян, которые сидят на кане, сосут длинную трубку и мастерски сплевывают, не наклоняя головы!

— Как! — воскликнул Багров, поднимаясь. — Она же вскоре после твоего ухода появилась между елями и стояла недвижно долгое время, пока я ее писал. А потом она подошла ко мне . . . и . . .

— А потом — ничего не было! — перебил я его. — Ты получил солнечный удар, вот и все . . . Едем домой!

На обратном пути он жаловался на страшную разбитость во всем теле и головную боль. Под тем же предлогом он, невероятно осунувшийся за ночь, на другой день расгрозился со мной и уехал обратно в город.

Наше прощание было очень сердечным, но меня поражало, что он избегает говорить о вчерашнем происшествии и уклоняется от объяснений по поводу написанной им девушки.

Я так и счел ее плодом фантазии художника.

Два месяца моя фирма гоняла меня командировками по разным закоулкам Маньчжурии. Проездом по старому Гирин-Хуньчуньскому тракту я заболел. Провалился в жестокой лихорадке несколько дней на одной из станций.

Когда я стал поправляться, решил, ради прогулки, сделать экскурсию в даосскую кумирню, которая находилась на крутой, заросшей дубняком горе. Хотя было уже под вечер, летний зной еще дрожал в воздухе над морем лиственниц и пихт, когда я добрался до подножия сопки. На самой верхушке ее, в зелени лепящихся по косовету дубов, распутивших во все стороны мозолистые, скрюченные пальцы своих корней, притаилась кумирня.

В сумраке сводчатого входа я тихо прошел меж двух рядов страшных слуг Властителя Мира и Небес. Духи, воплощенные в потемневшее дерево и позолоту, недвижно глядели на меня мертвыми глазами на раскрашенных физиономиях, поблескивали серповидными секирами, грозили адскими трезубцами . . .

А дальше — опять мощный двор, солнечные блики, трепет листья на каменных плитах и шелест.

Я уже поднимался по ступеням в следующее отделение храма, когда чуть не столкнулся с изможденным, похожим на тень монахом.

Я сделал шаг в сторону, а потом с криком вцепился в него:

— Багров! . . .

Он долго смотрел на меня непонимающим взглядом, а потом его лицо прояснилось, он грустно улыбнулся:

— Наконец! Хорошо, что ты здесь! Я даже думал об этом . . . Надо же кому-нибудь рассказать, чтобы не сочли за сумасшедшего . . . Хотя . . . разве не все равно? . . . Ну, пойдем.

Потрясенный встречей и видом Багрова, я молча последовал за ним. Мы уселись на краю обрыва, где отроги Кэнтей-Алиня, точно чудовищные ящеры, раскинули перед нами извивы своих зубчатых спин. Я ждал, когда заговорит Багров. Он помолчал, как будто собираясь с силами, как будто стяхнул с себя какое-то оцепенение . . . Затем заговорил, все более и более воодушевляясь . . .

— Помнишь, как я написал маньчжурскую принцессу там, на заброшенном кладбище? Ты думал, что со мной случился солнечный удар . . .

На самом деле было совершенно другое: девушка действительно появилась между елей у входа . . .

Я был страшно увлечен работой, нем и глух ко всему и совершенно не дал себе труда задуматься, откуда она появилась. Какое мне дело? Только обрадовался, что у меня будет красочная центральная фигура: она мне более всего нужна была в ту минуту. Боясь, как бы она не ушла слишком скоро, я спешил скорее нанести ее на полотно.

Я работал с невероятным подъемом, и картина под моими пальцами близилась к концу с поражающей меня самой быстротой.

И когда она была почти готова, я оглянулся на девушку и . . . неожиданно увидел ее подошедшей ко мне вплотную . . .

Будто что-то ударило меня: я выронил кисть и обеими руками схватился за голову . . . Мне нужно было вспомнить что-то: во что бы то ни стало, необходимо было вспомнить то, что было скрыто за какой-то мутной, дрожащей пеленой и было одновременно так близко! . . . И мука с такой силой охватила все мое существо, что сердце было готово выскочить из груди . . .

А девушка смотрела на меня укоризненным, скорбным взглядом. Она качала головой, губы ее подергивались, шептали чье-то имя . . .

Я заплакал от тоски и нестерпимой боли. Почему же, почему я не могу вспомнить! Давящим комом во мне росло желание безумно закричать, и, кажется, я кричал . . .

И тогда — точно вихрь прошумел в голове. Ослепительная вспышка. Мрак . . . И — я уже держу девушку на руках . . . Вороной конь подо мной испускает короткое ржание и бешено мчит нас вперед . . . И еще рядом множество копыт отбивают дробь под странными всадниками, и все мы стремительно уходим от невидимой погони.

Чувствую себя невероятно сильным! Ночь . . . Кустарник . . . Летящие навстречу деревья и скалы . . . И несмотря на опасность от погони, столько упоения в этой скачке! Сколько торжества бунтующей, никаких законов не признающей силы, что я сжимаю девушку как в железных тисках, целую ее, с ужасом отбивающуюся от меня, и выпускаю короткие, сдавленные крики, которых я не могу удержать от душащего меня восторга . . .

Возбужденный воспоминаниями бредового бега, Багров на минуту прервал рассказ и глухо закашлялся, как кашляют чахоточные.

Возбуждение утомило его, он стал рассказывать медленнее.

— Ну, знаешь . . . Одним словом, в ту минуту я уже был не нынешний Багров, а . . . Как ты думаешь, кто я был? Яшка Багор, атаман шайки . . . ну, там — землепроходцев Сибири, что ли, или просто разбойников. А ранее и то и другое вместе, потому что помню — впоследствии у лагерного костра я часто разговаривал с товарищами о теплом море, Опоньском царе и еще разных диковинах.

И ты был между нами . . . С самопалом, громадным топором и длинным ножом за голенищем. А звали тебя «Васька Жги Пятки», потому что . . . ты у нас был чем-то вроде специалиста по пыткам . . .

Багров застенчиво и неловко улыбнулся, как будто чувствуя себя виноватым в том, что определил меня в своем отряде на такую странную должность. Это вышло у него так забавно, что и я не удержался от улыбки, слушая этот, по моему мнению, горячечный бред.

— Мы ушли от погони в тот раз, — начал он опять. — Это было удачное ограбление целого поезда знатной дамы со свитой и прислужницами. Две недели мы мчали добычу на север, где у нас, на вершине «Собачьей головы», имелся какой-то лагерь.

Девушка — о том, что она была маньчжурской принцессой, я узнал лишь впоследствии, — стала моей женой, как ее прислужницы сделались друзьями моих товарищей.

Я брал ее ласки, но она не любила меня. Помню, был даже случай, когда я у нее нашел небольшой, но острый, как жало осы, кинжал. Ложась спать, я нащупал его спрятанным в платье своей жены и преспокойно вытащил его оттуда, не бросив ей ни одного упрека. Больше того, — я положил его рядом с ее изголовьем и, усмехнувшись, уснул. Такие отношения продолжались до того дня, который все изменил и перепутал все карты: на вершине «Собачьей головы» нас окружил многочисленный отряд маньчжуров, высланный преследовать нас.

Дело было на рассвете. Постов, по дьявольской беспечности, мы не выставили, потому что — у маньчжуров, мол, руки коротки!

Я еще спал, когда Васька Жги Пятки ворвался в мой шалаш:

— Вставай, атаман, маньчжурские мужики за нашими головами идут.

Пока я надевал «сбрую» и прислушивался к начавшейся лагерной суматохе и ругани: «Какие такие мужики идут? . . . Сбрендил спяну! . . .», мне бросилось в глаза радостно-взволнованное лицо жены.

— Рада, поди, стерва!

И как-то горько вдруг стало мне на душе. Но я только взглянул на нее исподлобья и помчался выяснять размеры опасности.

На увенчанной каменным карнизом вершине «Собачьей головы» царил полная растерянность. Все уже успели убедиться, что на сей раз не уйти . . . Как зверь, рыскал я по вершине, перегибаясь и вглядываясь то туда, то сюда, в усеянные кустарником скаты, и везде мой взгляд наткался на конных маньчжуров, оцепивших гору, как железным кольцом.

— Что, черти! Прозевали? — рычал я с налитыми кровью глазами на попадающихся людей. — С бабьем возились?! А?

Все молчали, только откуда-то сбоку донесся спокойный голос Ерша Белье Ноги, прозванного так за свои опорки:

— Не шуми, атаман! Сам ты больше на бабу глаза тарачил, чем порядок блюл!

— Руби засеки, чертово отродье! — закричал я, почуяв изрядную долю правды в словах Ерша.

Опешившие станичники зашевелились. Мгновенно появились топоры, и все с каким-то остервенением навалились на работу; рубили и приволакивали целые деревья, прикатывали громадные глыбы камня — засека досла.

Но меня это не утешало: конец был ясен, — отгуляли! Было единственное, на что я хоть сколько-нибудь надеялся, — что перед атакой маньчжуры вышлют парламентаров и предложат сдаться, а там можно будет поторговаться: сперва соглашаться, а потом отказываться. Канителить и всячески выигрывать время, чтобы как-нибудь обмануть и прорваться.

Далеко внизу протрубил рог. Бурные ряды по долинам задвигались, заходили волнами, — всадники слезали с коней. Край солнца показался на горизонте и брызнул снопами золотистых лучей. Кое-где блеснули перистые шлемы вождей. Строятся.

Если теперь не вышлют парламентаров, то — никогда!

Нет, двигаются! Медленно, но уверенно, как сама смерть!

Они еще далеко, но мне кажется, что я слышу шорох бесчисленных шагов. И, прислушиваясь к отдаленному гулу, я начал свирепеть: как же . . . за нашими головами идут! Ладно же, пусть тогда это будет веселая смерть!

Я вскочил на самый высокий камень и крикнул что было силы:

— Эй, ребята, висельники, кандальники, отпетые головы! Хорошо ли погуляли по миру за Уралом, за камнем?

— Хорошо погуляли, атаман!

— Было ли пито, бито и граблено?

— Было и пито, и бито, и граблено! — хором отвечали разбойники.

— А довольно ли бабья, станичники?

— И бабья хватало!

— Так вот, братцы-станичники, — пора и честь знать. Отзвонили — и с колокольни долой. Без попов нас сегодня отпевать пришли, и отпоют . . . Так не жалея, братцы, пороку в последний раз! Чтоб веселей окочуриться хмельной голове! Да бейся так, чтоб черти на том свете в пояс кланялись!!!

Я выдержал паузу и обвел всех глазами. Мои лохматые бородачи закивали головами и в один голос закричали:

— Орел наш атаман! Дюже правильно сказано! Чтоб черти . . .

И тогда я ударил в ладоши и заплясал на камне, притоптывая ногами:

— Эх-ма! Ух! Ух!

Как девица молодая
Рано поутру за медом шла . . .

Кубарем выкатились из засеки Сенька Косой, Митька Головотяп, да Ерш Белые Ноги и с гамом и присвистом пустились в присядку. Пулями вылетели еще другие, и все завертелось и заплясало у обреченной засеки.

Я смотрел на беснующуюся перед концом ватагу, присвистывал и притаптывал вместе с ними, но в то же время «зыркал» на приближающегося врага.

— Будя! По местам, ребятушки! Пали . . . бей! Так их перетак . . .

В следующую секунду уже захлопали самопалы, задымили камни . . . В этот момент я в последний раз оглянул опустевшую площадку и увидел свою жену, которая молча наблюдала сцену.

В эту именно минуту я как-то особенно остро почувствовал всю ее нелюбовь ко мне и с горькой усмешкой бросил ей:

— Не горюй, красавица, — сегодня меня убьют!

Она оставалась стоять, как изваяние, с каменным лицом . . .

Уже все закипело кругом, и как прибой у скалистого утеса в бурю со стоном отбегает назад, так и первые ряды маньчжуров, высоко взметнув румами, опрокинулись назад под целым смерчем дыма, огня, пуль . . . Но, как прибой не устает громить скалу, так же наступающие поднялись волной . . . Уже не успевали заряжать ружья, и над засекой все чаще стали взметываться топоры, секиры, и уже вся гора, как муравьями, кишела наступающими.

Конец наступил чрезвычайно быстро, быстрее, чем я ожидал: маньчжуры где-то прорвали засеку, и всю площадку мгновенно залило нападающими.

В последние минуты я был как в тумане. Отбивался сразу от трех нападающих, расплющил обухом одному шлем вместе с черепом, и в ту же секунду получил нож в спину.

Я упал, но еще не потерял сознания, и тут вдруг . . . какая-то женщина прорвала стену обступивших меня воинов, плашмя упала на меня и заплакала, и закричала на маньчжурском языке. Руки обвили мою шею, и эти руки были — моей жены!

— Поздно! — с горечью прохрипел я ей в лицо и лишился сознания.

Багров, тяжело дыша, прервал рассказ и сидел несколько минут, закрыв глаза, будто еще раз переживая виденное.

— Итак, — опять начал он, — в минуту поражения эта женщина подарила мне свою любовь — навсегда . . . Мне трудно говорить, и не в подробностях тут дело . . . Да и день уже догорает, а вечерняя сырость заставит меня мучительно кашлять. Я только скажу тебе, что благодаря отчаянному сопротивлению моей жены меня не убили, а взяли в плен. И она мне устроила побег. Подкупленный ею тюремный сторож сам привел меня к месту, где были приготовлены оседланные лошади и оружие. И у этих лошадей я опять встретил жену и вместе с нею, днем и ночью, по очереди пересаживаясь с одного коня на другого, гнал на север, пока не пришлось снять ее с седла — бесчувственную.

Я прожил с нею двенадцать долгих лет жизнью дикого охотника в горах маньчжурского севера. Мы кутались в меховые одежды и иногда подолгу голодали. Но и в холоде и в голоде, в зимние бураны и в солнечные лета мы одинаково тянулись друг к другу и грелись в лучах взаимной любви.

И мы вместе погибли, разорванные одним и тем же страшным медведем на том солнечном холме, где я написал маньчжурскую принцессу. Этот последний акт нашей великой любви . . .

Ну, зачем я говорю — последний? Мы еще будем продолжать любить и там — в пространстве миров.

Смерть нас подстерегла поздней осенью. Это было в те дни, когда дичь по какой-то неведомой причине внезапно исчезает в каком-нибудь определенном районе тайги. Мы шли, шатаясь от голода, в поисках пищи и немного отдалились друг от друга.

И тогда появился зверь. Это, наверное, был не медведь, а злой дух! Он, как привидение, неожиданно поднялся из-за сгнившей коряги около моей жены и первым же страшным ударом мохнатой лапы снес ей всю кожу с мясом с лица, так что она мгновенно ослепла!

— Муж мой! Муж мой! — кричала она тем криком женщины, находящейся в смертельной опасности, при котором еще пещерный человек, потрясая дебри ревом, с звериным оскалом бросался спасать свою подругу.

И я был около нее быстрее мысли, и руки слепой и на этот раз нашли мою шею и грудь. Обхватив левой рукой самое дорогое для меня в мире существо, я бился насмерть с медведем-привидением. Я колот и резал, не чувствуя когтей и зубов зверя, пока, превратившись в окровавленный комок, мы вместе с медведем не покатались по земле, и страшная тяжесть издыхающего зверя с хрустом раздавила мне грудь . . .

Три существа — мы умерли почти одновременно . . . Я только чуть-чуть позднее. Испуская дух, я еще нашел силы нащупать возле себя маленькую ладонь . . .

— А теперь скажи, — весь загоревшись, обернулся Багров ко мне, — что должна была чувствовать душа этой женщины, когда она явилась ко мне, а я — не узнал . . . Сменить царственную роскошь на вонючие меха подруги почти дикого человека, жить в постоянной опасности, вместе принять смерть и — не быть узнанной! . . .

Теперь ты понимаешь, что я пережил, когда очнулся от обморока и привел свои мысли в порядок? Только тогда я понял, почему я не мог полюбить ни одну женщину в этом мире! Все-таки где-то внутри нас есть уголок, где живут воспоминания о прошлых жизнях . . .

И я взроптал: зачем такая несправедливость! . . . Я существую, а ее нет! Пустить меня одного в мир . . . Для чего мне жизнь?

В первые моменты хотел покончить самоубийством, чтобы сразу встретить тень той, которую люблю я, нынешний Багров, так же как любил не-

когда атаман Яшка Багор, а может быть, и еще сильнее . . . Но меня удержали опасения, что, может быть, самовольным уходом из жизни я провинюсь перед Творцом Вселенной и, в наказание, снова века лягут между нами.

Недаром же все религии мира осуждают самоубийство.

Мне оставалось только уйти из жизни, которая для меня стала чем-то вроде длинного и пустого сарая, — но все же остаться пока жить.

И я пришел сюда, потому что в этой местности я, сотни лет тому назад, страдал и любил так, как только может любить человек.

Кроме того, были у меня еще и другие соображения . . .

Недаром я принял столько хлопот и беспокоил всех китайских друзей, чтобы поступить в этот монастырь! Я решил всячески сокращать свой жизненный путь . . . Здесь я мог выпустить на себя всех зверей своего духа: тоску культурного человека в глуши, отсутствие возможности заниматься искусством и читать, и, наконец — самовнушение. Чтобы последнее было действительно, я прихватил с собой книгу с точным описанием симптомов чахотки и перечитывал ее по нескольку раз.

Дрожа от радости, я обнаружил, что чахотка не замедлила появиться. Тогда я стал еще меньше спать и просиживал ночи над этим обрывом, мечтая о предстоящей встрече, теперь уже на законном основании: я — не самоубийца . . .

— Ты . . . ты хуже его! — простонал я, обеими руками вцепившись ему в грудь. — Ты ловишь смерть на приманку . . .

— Мы не можем бросаться смерти в пасть, — хмуро возразил Багров, — но кто запретил нам чуть-чуть приоткрыть ей дверь?

Задыхаясь от волнения, я выпалил перед Багровым целым залпом доказательств его безумия, опрометчивости . . . Ратовал за жизнь; говорил о диких суевериях, приводивших к неправильным последствиям мечтателей, подобных ему, и вдруг заметил, что Багров не слушает меня, рассеянно глядя куда-то в сторону. Он встрепенулся, лишь когда я замолк.

— А знаешь . . . — тихо зашептал он, близко наклоняясь ко мне, — чем хуже становится мое здоровье, тем больше я ощущаю ее близость. А когда листья на деревьях пожелтеют и посыплются, свершится наша встреча! . . . Тогда, в память обо мне, ты получишь «Маньчжурскую принцессу».

Точно пьяный, проснувшийся после тяжелого бреда, я шел обратно. У подножья сопки почувствовал утомление и бессильно опустился на пенек.

Солнце давно уже исчезло, и болотистая низина предо мной задымилась теплым паром разогретой земли. Быстро темнело . . . Выпь закричала в пади . . . Затем — еще чей-то крик . . . шорохи в кустах . . . И понемногу заговорили ночные голоса. Ожила странная жизнь ночного болота, где змея подкрадывалась к лягушке, тигр в камышах на брюхе подползал к кабарге и шла глухая борьба, — как и среди людей.

А над всем этим мне чудились две скованные тени — мужчины и женщины, — которым ничего не нужно, кроме друг друга.

ПРИЗРАК АЛЕКСЕЯ БЕЛЬСКОГО

I

Алеша Бельский еще раз погрузил деревянный лоток в яму мутной воды перед ним; пополоскав немного, он осторожно, тонкой струйкой слил воду и проговорил:

— Не меньше двух золотников с лотка! Слышишь, Вадим!

За кучей набросанного золотиносного песка зашуршало, а потом оттуда выставилась грязная, невероятно обросшая щетиной физиономия. Если бы в горной щели, где происходил разговор, было бы чуточку светлее, можно бы различить, как эта физиономия расплылась в улыбку.

— Вылезай! — продолжал Бельский. — Обедать пора! У меня такое ощущение, будто мне в спину вогнали осиновый кол. Шутка ли! С самого утра не разгибался.

Оба компаньона добывали золото в маньчжурских сопках, или, попросту говоря, хищничали. Прежде чем попасть сюда, они солдатскими сапогами месили галицийские поля на великой войне; потом вернулись к отцовским очагам и не нашли ни очагов, ни отцов, а узнали, что сами они — буржуи и враги народа. Тогда два друга двинулись на Восток, где долгое время об их благополучии, хотя скверно, но все-таки заботилось интендантство колчаковской армии. Тут они заработали офицерские погоны, так как оба были не прочь заглядывать в беззубый рот старушки-смерти. Таким образом, все шло хорошо до тех пор, пока не стало ни армии, ни интендантства. После этого они попали в Маньчжурию, но здесь им сказали, что они ничего не умеют делать.

Сейчас им улыбнулось счастье, но это счастье было, пожалуй, самым непрочным в мире, так как им одинаково страшен был и представитель китайских властей по охране недр, и хозяин сопки — хунхуз. Но — велик Бог русского эмигранта! — в балагане из коры лежал мешочек намытого песка. Его вес возрастал с каждым днем, и это вселяло дикую энергию и отвагу в сердца хозяев.

Самый же источник этой удачи находился под обрывом, в сырой, мрачной щели между двух сопки. Здесь протекал ручей. Несмотря на май, вода в нем была холодна, как лед, и обжигала, как огонь. Но двум приятелям, которым грезилось волшебное будущее, все было нипочем.

Друзья выбрались из сумрачной щели и долго мигали, пока глаза не привыкли к яркому свету; так и заливало солнышко ложину с нехитрым балаганом.

Алеша быстро развел огонь и замесил в котелке варево «за все»: оно служило и хлебом, и первым, и всеми дальнейшими блюдами. Обед был изготовлен чрезвычайно быстро и еще быстрее съеден со звериным аппетитом. После — оба ничком уткнулись в траву. Разморило.

— Ты как думаешь, — спросил Вадим, — долго еще нам придется питаться бурдой?

— Долго — не дадут. Того и гляди кто-нибудь нагрянет и — смазывает пятки!

— А потом?

— Потом . . . — Глаза Бельского как-то ушли в себя и будто туманом подернулись. — Потом начинается жизнь . . . Ведь мы с тобой еще не жили! Каждую ночь мне снятся женщины, надушенные, страстные . . . Они порхают около меня, шепчут мне в уши бесстыдные слова, ласкают . . . Ты знаешь: здесь тайга; весной из целины сила идет, так она пронизывает меня: бунтует кровь . . .

Вадим молчал. Ему тоже снилась женщина, но только одна — ласковая, нежная . . . Зажмурит Вадим глаза — так и видит всю ее перед собой. Все мысли — к ней. Сидит, поди, она в городе, в мастерской, и целый день крутит швейную машину, а кругом еще десятки таких же машин стучат. Без конца течет материя из-под пальчиков ее . . . Вот к этой женщине он придет из тайги прямо в мастерскую, возьмет за руку и навсегда выведет ее оттуда. А потом настанет точно такой день, какой он видел на экране, когда жил в городе; сыплются под дуновением белые цветы, па-

ра выходит из церкви, а в весеннем воздухе гремит свадебный марш Мендельсона: тра-ра-ра . . . Да, да, обязательно этот марш!

Кончился краткий отдых. Опять два человека, не замечая боли в пояснице, не чувствуя холодной воды, лихорадочно работают; один выбрасывает песок из ямы, другой — промывает. У обоих одна мысль — как бы кто не помешал! Еще бы недельку, месяц поработать бы!

Катится с горы мал камешек. Оторван он чьей-то ногою на вершине, а катится сюда, к работающим. Эх! упадет — чьи-то мечты разобьет.

Вадим увидел камешек и крикнул Бельскому. Оба прыгнули в кусты и уставились на вершину сопки. Вот мелькнула в кустарнике синяя куртка — китаец проходит. А может быть, поселянин? Тогда еще не так страшно . . . Нет! Повернул рябое лицо к ним, — хунхуз! Тот же самый, который зимою приходил, когда оба товарища работали на концессии! Быстро вот удалется; высмотрел — чего ему больше! Теперь скоро вся банда сюда нагрянет.

Прятели вылезли из кустов и направились к балагану. Каждый по-своему реагировал на событие. Вадим угрюмо молчал, а Бельский с самым равнодушным видом насвистывал песенку. Терять ему было в привычку. Разве он не потерял всего раньше, там, в России? А сколько раз он терял на чужбине.

Сборы были чрезвычайно короткие. Все было упаковано в рогули. Русские охотники и приискатели переняли их употребление от ороченов и китайцев. Рогули водрузили за плечами, и два человека решительно зашагали, чтобы в двое суток достичь железной дороги.

II

Под самый вечер ливень пронесся над тайгой; он налетел бурею и в мгновение ока закрыл сопки мутной сеткой косо падающего дождя. Пока бушевал ливень, день погас, и kloкочущий раскатами грома мрак черною шапкою накрыл все. Вспышки выхватывали из темени стволы с черными сучьями, подобными костлявым, пощады просящим рукам. Потом ветер присмирел и дождь стих, и ночная тайга заговорила разными голосами: булькали невидимые глазу ручьи; пищали какие-то зверьки, и трещали ветви под крадущимися шагами в стороне.

Сыро, неприветливо и страшно в такую ночь в тайге; черными платками проносятся над головою бесшумные совы, а кусты, кажется, шепчут: не ходи . . . не ходи . . .

Ноги спутников хлюпали в грязи, и они вымокли до последней нитки. Вадим почувствовал озноб; после беспощадного дождя его начало лихорадить.

— Леша, я больше не могу, давай устраиваться на ночлег!

— Потерпи, брат! Дотянем еще до перевала; там, в стороне от дороги, старая кумирня есть.

Еще грязь, кочки, крутой подъем, каскады воды с кустов и — перед ними зачернела похожая на громадный гриб кумирня. Она дохнула в лицо запахом тайги и намокшей земли. Когда Бельский натаскал хворосту и развел огонь на полу, то бурундук с писком шмыгнул с древнего изображения Будды, а под крышей зашуршало по всем направлениям.

Едкий дым потянулся от костра к трещинам в крыше. Вадим в изнеможении растянулся на полу. Лежал с полчаса и чувствовал лихорадочный жар внутри, а вместе с жаром стал ощущать тревожную напряженность и необъяснимое обостренное чувство.

— Все ли спокойно в тайге? — глухо заговорил молчавший до тех пор Бельский. — Не идут ли за нами? Схожу, посмотрю.

Посмотрел Вадим на друга и испугался того, что он увидел. Печаль смерти лежала на лице друга. . .

Есть страшный дар у некоторых людей, что могут они заранее узнать обреченных. Еще на германском фронте Вадим знал пьяницу-прапорщика, который накануне сражения долго всматривался в чье-нибудь лицо и крутил головою. Это был признак, что завтра того человека, наверное, убьют. Ни разу не ошибся. Этот дар обнаружил у себя и Вадим.

Вадим вскочил, раскрыл рот, хотел крикнуть — не ходи! — но Бельский уже выскользнул в дверь. Вадим бессильно опустил на пол. Э! разве можно остановить судьбу! Все равно нельзя! А может быть, он ошибся? Дай Бог! . .

Тихо все. Костер перестал потрескивать. Нагорают уголья, тлеют синими огоньками, и не может слабый свет одолеть мрака. Тишина такая, что звенит в ушах. Что-то долго нет товарища. Однако — надо идти за ним! С чего это он сразу не догадался, надо бы — вместе! . . Встал, повернулся Вадим, а перед ним уже Бельский стоит, — вернулся! Только напряженный он такой до чрезвычайности и тихо-тихо говорит, так тихо, что, кажется, будто и звука нет, но ясна для Вадима его речь:

— Сейчас, сейчас беги отсюда! Хунхузы уже здесь! Они уже убили меня!

Сказал это старый товарищ и будто туманом подернулся, смутен стал, расплылся и растаял в воздухе.

Сперва страх ощутил Вадим; потом дрожь прошла по телу, и он почувствовал, как вместе с лихорадочным жаром красное безумие поднимается и пронизывает мозг. Страх моментально исчез, и дикая отвага заменила его. Мигом он укрепил рогули за плечами, схватил в руки топор и зычно крикнул в темноту:

— Спасибо тебе, Леша! Не забыл меня и после смерти! И я тебя не забуду, слышишь!

В два прыжка он выскочил во двор и прямо грудью столкнулся с сильным детиною. Отскочил — взмахнул топором, что-то хрустнуло. Над самым ухом хлопнул выстрел и обжег щеку. Чьи-то цепкие руки обхватили его ноги из темноты. Вадим еще раз взмахнул топором, и руки разжались. Потом он прыгнул в темноту и покатился с крутого откоса, цепляясь за кустарники и задерживаясь на неровностях. . .

* *

Два дня спустя на вокзале одной из станций К. В. железной дороги появился невероятно обтрепанный человек с бледным, усталым лицом. Он купил билет до Харбина, а потом прямо прошел в буфет первого класса. Служитель хотел его выпроводить, считая его недостойным «чистой половины», но вовремя остановился, услышав, что пришедший требует шампанского.

— Самого лучшего, — прибавил он.

Шампанского не оказалось. Тогда незнакомец потребовал две сигареты и бутылку коньяка, причем опять прибавил: «Самого лучшего».

За все он сейчас же расплатился щедро и велел подать на столик две рюмки.

Он налил обе рюмки, но пил только из одной и непременно чокался с нетронутой.

Все время он смотрел в окно, на видневшиеся вдали сопки, а когда пришел поезд, — уехал.



Латышский поэт, переводчик Улдис Берзиньш родился в 1944 году в Риге. В 1971 году окончил Восточный факультет Ленинградского университета. Издал книги стихов: «Памятник козе» (1980), «Поэтизм Белорус» (1984), «Несостоявшиеся покушения» (1989). Переводит поэзию с русского, белорусского, английского, польского, чешского, персидского, древнееврейского, тюркских языков. Перевел «Слово о полку Игореве» (совместно с К. Скуенником), «Книгу моего деда Коркуда», «Гупн-стан» Саади, стихотворения Махтумкули, В. Хлебникова, В. Симборской, Ч. Милоша и других поэтов. В 1988 году выпустил книгу переводов (совместно с П. Бруверсом) из турецкой поэзии «Дворы полны голубей». К 300-летию первого перевода Библии на латышский язык опубликовал в периодической печати переводы из поэтических текстов Библии: «Книга Иова», «Псалмы Давида», «Эклезиасти», «Книга Притчей Соломоновых». Эти переводы — попытка найти латышский адекват западносемитскому тонкисному стихосложению.

Стихи У. Берзиньша переводились на польский, а также — русский, литовский, эстонский и другие языки народов СССР.

ВРЕМЕНА ГОДА

Перевел Сергей МОРЕЙНО

СТИХОТВОРЕНИЕ О СТАРОСТИ

1

(Иоанна 21 истинно истинно говорю тебе когда ты был молод то препоясывался сам и ходил куда хотел а когда состаришься то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет куда не хочешь) а Петр смеется.

Учитель он говорит что ты о старости знаешь ты умрешь молодым.

Молодому страшно его ведь можно убить со старика что возьмешь жизнь его птнца в ветвях.

Юноше страшно его окуют цепями старый н в яме свободен свобода его птнца в небе.

2

(Все проходит) неохота чушь молоть (все проходит) надоело бахвалиться старость близко н каков ты есть таков ты есть (чего лукавить).

Возраст приходит как ливень
Смывая пыль.

3

А нной до последнего вьюном вьется
с ведром к колодцу пока не споткнется

пошел черпать а куда на что
льет а что и не знает во что

так год за годом полжизни мимо
придет ли старость да и старость ждн мол.

Начнет похваляться он тем что было
тем что в годы мужа свершил он

добро он копнт (а добро гниет)
так полнится чайа за годом год

в гробу он лежит свечн горят жизнь прошла
что старость отвернулась мнмо прошла.

4

Лншь бы сердце было зрячим
О глазах не плачу.

Еще одна вещь хороша то что спина не гнется.
Старому трудно юлить старому пятиться трудно
хочешь не хочешь надо стоять на своем.

Копейка осталась лежать унизиться не пришлось
(ботинки не зашнурованы но это пустяк).

Дай мне бог старости на порог.

ЭЙ МЮЛЕНБАХ

Только пни у меня Мюленбах корешки зубов рот
нем мешает язык прикушен белую кровь жру ле-
сом порубленным да не соврать только пни у меня
и труха под ногами эй

Мюленбах проткни окончанием рот чтобы луком
выгнул язык на кончике ветки иволгой сидел выкри-
кивал время и род пусть кусает мой рот пусть
врет эй

Мюленбах корень мне назови в нем сила имени
сок корневых гласных разъест тебе зубы эй вырви из
губ моих корень как зуб чтобы почувствовал боль
слова кровь слова жру ткни его как занозу пусть
язык набухает кусает мой рот слово пусть врет
эй

Мюленбах дай мне язык чтобы мог наплести
дай самое твердое слово разгрызу как орешек да-
же если в зубы ногой или палкой если споткнусь
не успею разгрызть насыпь же мне полный рот
готических и новеньких буковок цифр знаков раз-
ных пусть снова кусает мой рот пусть врет.

ОСЕНЬ

Режут свинью режут визг протыкает солнце
выливается золото

Режут свинью разрывается сердце ах сердце
расколото

Свиная душа пузырем надутым над лесом стоит
тянет дымком пиво болбочет

Кровь приливает к сердцу в чан наливают
свиную желчь

Кто же это огромный чистый длинный как жердь
Ах милые люди это свиная смерть

* * *

Крот роет землю, жизнь во мгле стрекошет, червь в руки не дается, и тонет замок без следа, хтонические звери кишат в трясине и в колодце, горшок урчит, натужно дышит ад гигантскими мехами, ночь свой заваривает хлеб, когда об этом годе бога нет, черт в крупном выигрыше, болота тлеют, в берлоге в тяжком сне левиафан ворочается, копьем его не взять, тьма под стрелой не хрустнет, и только то, что сам он породит, наложит на него ярмо, пучина бродит, ветвистыми корнями жизнь сосет, и тина лопается, медленно восходит, под землей гора, и павшими от ран полны пригоршни, бродит, бродит, и умному по нраву темнота.
Мешками тащат свет в амбары.

* * *

Что, Пятница?

Весна уже прошла и нежный у нас июнь с рас-
садой и жасмином, такой покой на кладбище и
чистота плывет над лесом, бог не любит нашу землю
мокнет сено.

А Пятница?

Он вроде губернатора на мелком островке и с
кучей полномочий, но парень свой мы вместе пили
на Лнго Леон был пьян и Виктор, ну было пето
костер у берега реки и Кнут.

Ах, Пятница?

Куда же лето, промчалось словно три коротких
дня и в октябре я еду в Смилтене шофер сказал
сынок, еще не все пропало еще год за годом и бежа-
ли багряные деревья.

СРЕДНИЕ ВЕКА

Душа о мыле стонет, скользкий пол смердит, заняла в сапоге
нога и хочет пены Ян.

Залнто пивом платье, мыла нужно, рот мой черен, камнем чешет
черт лопатки, медведь об угол трется.

Скачет царский сын и просит осьмушку мыла за полцарства Ян,
эй Ян.

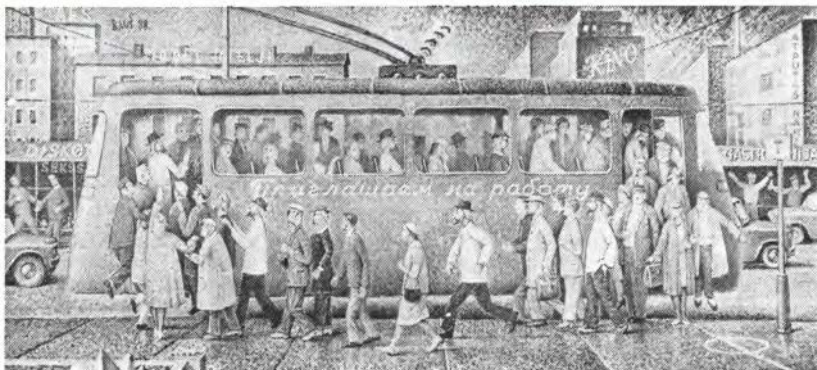
Тонет конюшня в жиже, соль жжет плечи, на каждой балке висну,
задыхаюсь Ян.

Доспехи рыцарей рублю, рубахи смердов, вши меня заели эй, Ян.

Стоит на белых холмах Рига, мухи жужжат, вливается в Двину ру-
чей и в муках дохнет рыба эй, Ян.

Лезет солнце в небо, уже одиннадцать пробило в немецких зем-
лях, в зените встало время, ищет мыло палач.

На колесо меня ведут, на плаху, вошь из бороды сбежала Ян.



Аусеклис Баушкенекс. Круговорот



НА РОДИНЕ

Повесть

У каждого из нас — своя малая родина. Чем старше становишься, тем больше тянет взглянуть на места, где прошло детство.

Мое — от рождения до десяти лет — прошло в самой что ни на есть глуши. В белорусском селе с официальным названием Добрыгоры. Обычно же оно называлось «Рабая слободка». Почему «рабая» (рябая) — ума не приложу. Итак, Рабая слободка. А точнее — хутор рядом с деревней. Со странно-романтическим названием «Соломинка».

Отец купил этот клочок земли — пять десятин — задолго до революции, задолго до поздней — в 37 лет — женитьбы на маме.

Отец — доктор. Сначала в Петрограде, потом — в Витебске, откуда он был родом. Доктор, как я теперь понимаю, по тем временам преуспевающий. А Соломинка — его своеобразное, как ныне принято говорить, хобби.

Пять отцовских десятин от деревни с одной стороны отделяла живописная, вся обросшая кустами, в кувшинках и белых лилиях, речка Кривинка. Так она петляла, что название ее «переводилось» без труда. От моста через Кривинку начиналась живая изгородь, охватывающая наши десятины неправильным полукругом. Второй его конец тоже упирался в Кривинку. Изгородь состояла из нескольких рядов. Ряд первый — ели. Уже довольно большие на моей памяти. За елями — диковина для здешних мест! — невысокие раскидистые буки, летом покрытые блестящими темно-зелеными листьями. За буками — желтые акации. Далее, образовав с акациями аллею, шли ползучие горные дубы. За ними — голубые ели, веймутовы сосны. Все это — невидаль.

Наконец, аллея лиственниц. За нею с небольшого пригорка полого спускался парк. В нем что ни дерево — дендрологическая редкость. Пихты. Невероятной красоты ели, не похожие ни на голубые, ни на обычные. Клены с узкими, причудливо вырезанными листьями. Развесистые деревья, именовавшиеся почему-то грецким орехом. Плоды на них были, но никакого отношения к грецкому ореху не имели по причине полной несъедобности. Заканчивался парк непролазными дебрями красного шиповника.

За шиповником — дом. Две смежные комнаты, теплые, с печкой. Одна — летняя, холодная. В ней — от пола до потолка стеллажи с книгами. Кухня с русской печью. Полдома охватывала узкая длинная веранда — надо полагать, дань полному отсутствию у отца практичности. На моей памяти веранда представляла собой склад всяческого хлама, а стекол в ней сохранилась едва ли половина.

Перед домом, со стороны «парадного» входа, открытого только летом, виселись два царственно прекрасных кедра. Помню на них сначала мелкие, зеленые, потом — крупные, румяно-коричневые шишки. Укараулить, когда упадет шишка, — радость величайшая: шишка битком набита вкуснейшими кедровыми орехами.

От дома к Кривинке шла аллея кедровая. Деревья в ней были еще молодые, до шишек не доросли. Справа от кедров начинался так называемый первый луг. Канавка, обросшая лозой, отделяла его от луга второго. В середине его была березовая рожица, сохраненная, очевидно, в виде образчика местного ландшафта. Дальше — еще одна канавка с лозой, и — третий луг. На нем вольно, как хотели, росли молоденькие кудрявые елочки. По осени между ними выплескивались россыпи рыжиков. Весной, в половодье, Кривинка затопляла наши луга. И потому трава на них росла высокая, густая.

От дома до самой деревенской улицы шла липовая аллея.

Напоминаю: всего-то пять десятин. Между всеми этими, с точки зрения местных малоземельных крестьян, — ничемными посадками ухитрился разместиться небольшой яблоневый сад, несколько вишен и слив, одичавший малинник. Оставшееся — земля пахотная. Заплатками лепился огород. На сбегавшем к реке пригорке росли то рожь, то картошка.

На этом хуторе я родилась. Сюда и потянуло меня неудержимо лет десять назад. И я подбила поехать на родину двух двоюродных сестер — Ксену и Наташу. Обе они жили в Москве, я — в Риге. Списались и съехались в Витебске.

Моему сердцу город этот ни о чем не говорил — в детстве я в нем не бывала. Лишь знала, что до него 60 верст. Когда-то от Витебска до местечка Бешенковичи летом можно было добраться на пароходе. Теперь — поездка наша состоялась в июне — о пароходе смешно было и думать. Западная Двина обмелела настолько, что и моторок-то на ней не видно. Так что ехать нам — автобусом.

Ксена старше нас с Наташей. Училась в Витебске. Ей он был родным. И она повела нас по нему. Горькая это была экскурсия! Война беспощадно прошла по городу. Конечно, успел уже восстановиться, застроиться традиционными пятиэтажками. То и дело Ксена останавливалась: «Тут было . . .» Вскоре — такая же остановка: «А тут было . . .» Было, было . . .

Ранним утром дня следующего мы покидали Витебск. Ксена — с печалью, мы с Наташей — с облегчением.

Тронулся автобус, и с нами начало совершаться чудо. В Витебске слышали на улицах, в магазинах, в трамваях речь русскую. Да, с характерным белорусским акцентом, но — русскую. В автобусе окунулись в стихию речи чисто белорусской. И — вот это и было чудо! — сами заговорили по-белорусски. Откуда, из каких потайных уголков памяти вырвались вдруг и забытые слова, и все эти мягкие «гэ»; резкие «ч»; сдвоенные, звенящие «дз» — не деревня, но «дзяреуня»; «у» вместо «л» — не «волк», но «воук»? . . .

Белорусы — народ общительный, добрый. Попутчики — мигом просветили нас, что из Бешенковичей на Осовец ходит через Добрыгоры автобус.

Хотя и не приходилось мне ездить в Витебск на лошадях, но все равно названия деревень пошли знакомые. Знала я, например, что кормить коня, дать ему отдых путники останавливались к деревне Крупенино. Еще и потому там останавливались, что дальше начинался большой глухой Крупенинский лес. Славу он имел недобрую — в нем «баловали». Останавливали подводу, грабили что под руку попадет. А то и коня

могли отпрячь и увести. И потому в Крупенине полагалось ждать попутчиков. В дорогу трогались лишь тогда, когда соберется несколько подвод.

Коня бедный белорусский крестьянин берег пуще глаза. Пропал конь — вся семья «пóйдет у старцы», то есть начнет побираться. Но уж через этот окаянный лес коней гнали без пощады. Лишь бы не отбиться от обоза. Отстанешь — пропал.

Мелькнула обочь шоссе доска с надписью: «Крупенино». И мы все это вслух вспомнили. И попутчики постарше подтвердили: да, так было!

Сверкнула через кусты синевой и аша Кривинка. Как тут было не забиться сердцу учащенно?!

И вот — Бешенковичи. Можно сказать, мы почти у цели. До Слободки всего-то восемь верст. Автобус на Осовец — через два часа. Есть время осмотреться.

Бешенковичи моего детства помню хорошо. Теперь это — районный центр. Тогда — просто местечко. Преимущественно еврейское. Кто они были, бешенковичские аборигены? Портные, сапожники, кожевники, кузнецы, мелкие торговцы. Уж на что в Слободке семьи были большие, но бешенковичские евреи и их превзошли. Такие же хаты, как в деревнях, теснота, полаты для спальни. По зимнему времени в хатах, в одной куче, и чумазы кудрявые ребятишки, и ягненок, теленок.

В Слободке были два престольных праздника — летний Микола и Успенье — осенью. Праздник непременно сопровождался кирмашем (ярмаркой).

В такие дни вся площадь перед церковью была забита «фурманками» — подводами бешенковичских евреев. У кого-то из них был свой конь. Те, что не имели, присоединялись к имущему. И потому — каждая фурманка битком набита и товаром и продавцами. Не зря же бытовала поговорка: «Семь жидов не воз, лишь бы конь повез».

Отслужит священник в церкви обедню, и народ хлынет к фурманкам. Девки, молодницы, нарядные, в ситцевых платьях, покрытые разноцветными полушалками в крупных ярких розанах. Иные, побогаче, «у чаровйках» (башмаках), чуть не до колен затянутых шнуровкой, с каблучками чем выше, чем тоньше — тем лучше. Мальцы, молодые мужики, — в сапогах, благоухающих дегтем. В домотканого сукна костюмах, пошитых бешенковичским портным Гиршей. Мужики постарше — в лаптях с белейшими онучами, в льняных домотканых портках и рубахах.

Нет, торговля начиналась не сразу. Сначала «кирмашёвые» — покупатели или просто зеваки — обстоятельно, без спешки изучали товары, разложенные и развешанные на и над фурманками.

Чего-чего там только не было! «Штуки» ситца и знаменитые полушалки, наборы на сапоги и хомуты всех размеров, чугуны и глиняная, весьма в Белоруссии любимая посуда. Всяческие дешевенькие украшения: карали (бусы) и ленты, брошки и колечки. Все, разумеется, своего производства.

А лакомства! «Цукерка з махром». Сиречь отлитый в домашних условиях леденец длиной этак сантиметров в двадцать. Завернут в разноцветную папиросную бумагу, на концах нарезанную узкими полосками, образующими этот самый «махор». Пряники форм невообразимых — от лошади до сказочной жар-птицы. Излюбленное лакомство любого «кирмашового» — баранки. Какие-то черные, сладкие, немыслимо вкусные стручки — никогда больше таких не едала и не видала.

Словом, на кирмаше можно было купить все, что необходимо сельскому жителю. Обе стороны — и продающая, и покупающая — готовились к кирмашу загодя.

Но вот кончился обзор товаров — начиналась торговля. Какой тогда адский гвалт поднимался над площадью! Продавцы каждый на свой лад и как можно громче рекламировали товар. Покупатель же никогда ничего не приобретал, не поторговавшись — тоже не вполголоса. Само собой разумеется, что обе стороны прекрасно знали друг друга.

Приценивался, допустим, Банадысь к набору на сапоги для вошедшего в жениховский возраст сына-именинника Миколая. Абрам, хозяин набора, для начала заламывал цену немислимую.

— Сколько уступишь? — Банадысь покамест цену не охаивал.

— Ай, вай мир, Банадысь! — вопил Абрам. — Побойся бога! Где ты еще найдешь такой товар?! — Мял голенища, сгибал-разгибал подметки. — Ось гляди сам!

— А ты ты знаешь, почем нынче кожа? — присоединяла свое высочайшее сопрано Абрамиха. — А выделка? Ты ты не знаешь, Банадысь, Абрамову выделку?! Не только Миколай — евонные унуки не сносят!

— Нет, — твердо говорил Банадысь. — Тая цена мне не по карману. — И — демонстративно отходил.

— погоди, Банадысь! — вопил вслед Абрам. — Ладно, трохи скину!

— Не. Пойду у Мойши погляжу.

— Как же: дасть тебе Мойша товар! — возмущался Абрам.

Банадысь и сам знал, что лучший товар — у Абрама. Знал и то, что к Абраму вернется. Но — цену сбивать надо.

Потом они еще раз десять торговались, один уступал, другой — набавлял. Уже и хлопали друг друга по ладоням. В последний момент что-то оказывалось «ня сходно». И — все сначала.

Так — возле каждой фурманки. Постепенно сторона покупающая — не бог весть какие у нее были припасены капиталы! — удовлетворялась. Кирмаш стихал. «Кирмашовые» расходились по хатам. Каждый вел с собой гостей из соседних деревень.

Сторона продающая торопливо запрягала лошадей и быстренько убиралась восвояси. Подальше от греха. Без греха дело в Слободке не обойдется.

Знал это и наш отец. Заблаговременно привозил из больницы запас перевязочного материала. Отстояв обедню, накрывал в библиотеке «операционный стол», кипятил хирургические инструменты.

Ни один уважающий себя слобожанин в престольный праздник не садился за стол без бутылки самогону. Гость тоже себя уважал — без бутылки не приезжал.

Мальцы пили и ели наскоро. Те из них, у кого конь был получше, быстренько запрягали. Вешали на шею коню бубенцы, дугу украшали лентами. Телегу укрывали самой наикрасивейшей пастилкой.

И — начиналось катанье по деревне наперегонки. Один выхвалялся перед другим: и своим конем, и своей сбруей, и, наконец, своей девкой, которую сажал с собой рядом первым долгом.

Мальцы-гости остаться в стороне от катанья не могли. Но стоило неосторожному гостю подхватить девку слободскую и — начиналось!

Ни один кирмаш не обходился без драки по этому самому поводу. «Зачапиу» зарецкий малец слободскую девку — и пошла потасовка. Для начала — на кулаках. Потом — шли в ход колья.

Нет, не зря отец готовил «операционный стол»! И бешенковичские евреи не зря гнали коней прочь из Слободки непутным образом.

От тех Бешенковичей, где почти в каждой хате жили знакомые, после войны не осталось ровным счетом ничего. Куда, на какую погибель мог поднять «в беженцы» свою семью с десятком ребятишек тот же Абрам? Всех евреев согнали в гетто и уничтожили. Хаты — спалили. Теперь

вместо них — кирпичные белые дома — если не близнецы, то близкие родственники. Вместо шумной базарной площади — площадь такая же, как в любом другом районном центре. Хоть бы себе и у нас, в Латвии. Памятник Ленину, двухэтажный дом райкома, такой же — райисполкома. Стандартно-бетонный универмаг. Кинотеатр постройки 50-х годов — с неизменными колоннами. Ах, скорей бы уж автобус!

Вот он и пришел. Уселись, тронулись. Сейчас полетят мимо деревни знакомые: Жуки, Масленка, Палицы . . .

Не было ни Палиц, ни Масленки, ни Жуков. Прямой как стрела грейдер, построенный во время войны нашими военнопленными, оставил деревню в стороне.

Пожалуй, мы, пытаясь разглядеть в окно хоть что-нибудь знакомое, проперли бы аж до Осовца, если бы не попутчики:

— Вот же они, ваши Добрыгоры! Вылезайте, скорей вылезайте!

Вылезли. Осмотрелись. У самой хаты Артема — вот где нас высадили. Стало быть, в центре деревни. Хаты Наумёнка, Новосельчихи, Кандраша . . . Вросли в землю, покосились. Но — узнаваемы.

Улица, что шла деревней, помнилась зеленой, поросшей муравушкой. Лишь посередке — укатанная колесами и копытами колея. Всегда ее мужики содержали в порядке, без выбоин и колдобин. Каждую весну, как только подсохнет, всем миром возили с реки песок, засыпали неровности. Только после этого, тоже всем миром, принимались возить на поля навоз. Какой тогда над деревней стоял запах! Брезгливый горожанин, конечно, сказал бы: вонь. А по мне — аромат. За зиму навозу в хлевах скапливалось столько, что коровы рогами упирались в балки. Навоз перепрел, исходил паром в весенней прохладе.

Теперь до самых завалин улица была вздыблена, разворочена тракторами и машинами. Ни травинки. Исчезли палисадники перед хатами. Малейший ветерок вздымал глиняную пыль. От нее окна в хатах были вовсе слепые.

И — ни одного знакомого лица! Чего черт понес нас сюда? Зачем? Нас никто не ждал. О своем приезде никого не извещали. Знали от бывших односельчан, живущих в Киеве, что Христинья, их родственница, жива. К ней и держали путь на первый случай. Дальше — видно будет.

Вот и Христиньина хата. У дверей в сени стояла худо, грязно одетая старушонка с клюкой. Поздоровались, спросили Христинью. Старушонка обернулась. И я ахнула:

— Пронька!

Это прямо злой рок какой-то: первое знакомое лицо — Пронькино. Вот уж кого видеть не хотелось вовсе! Семья, к которой принадлежала Пронька, всей Слободкой была презираема — за беспробудную лень, за вороватость. И вот, пожалуйста, радуйтесь!

Маленькие, глубоко посаженные глазки изучали меня. Во всей деревне такие были только у нее. Или у ее матери — Тяпчихи. Может, это и не Пронька вовсе, а сама Тяпчиха? Пронька — мне ровесница. А эта — ветхая старушонка.

— Пронька! — повторила я уже менее уверенно.

— Ага, — согласилась старушонка. В глазах — откровенная неприязнь. Почему? . . .

Тут в дверях сеней появилась Христинья. Ее мы узнали сразу. И в девках, и потом, в замужестве за Степаном Ермаком, она всегда была веселой, беззаботной красавицей. Певунья и плясунья. В свои 76 лет сохранила и отличавшую ее статью, и легкость движений, и живость глаз.

Глаза эти осмотрели нас и не узнали. Но те бесы, что всегда скакали из ее глаз по малейшему поводу, брызнули и теперь.

— Ниякая ня Пронька, — сказала Христинья с подковыркой. — Она у нас Паша таперь. Во як! А вы — хто?

Мы представились.

— Ах, мать-перемать! — вскричала Христинья. Босые ее ноги перемахнули через высокий порог. Причитая во весь голос, кинулась обниматься-целоваться:

— Ах, ты ж моя Ксеночка! Ты ж моя Марусечка! Ты ж моя Наташечка!

Пронька, пожалуй, тоже претендовала на объятия и поцелуи. Ну уж нет!.. Христинья это и поняла в миг единый, избавила нас от нежелательной процедуры:

— Иди, Паша, иди сабе! Видишь, гости у меня! — И — нам: — У хату, гостюшки мае дараженькие! Раздевайтесь, разувайтесь, садитесь!

Мы слова сказать не успели, как она метнулась через порог — только хвост длинной сборчатой юбки мелькнул.

Приехали мы не с пустыми руками. Раз хозяйка куда-то отлучилась, — разберем «гостинцы».

Ничего мы разобрать не успели — хозяйка вихрем влетела в комнату. Воздела к потолку руку с бутылкой красного вина, именуемого ныне «бормотухой». С «груком» водрузила бутылку на покрытый белейшей скатертью стол. И — гордо:

— А як жа?! Со свиданьцем. Магазин таперя — рядом.

Дальше — начались метанья из хаты в сени и обратно. На ходу включила электрическую плитку. На ходу брякнула на нее кастрюлю с водой. В приказном порядке:

— Ксеночка, Наташечка, чистите бульбу! — Жест в сторону сеней. — Бульба — там. Ножи — во! Марусечка, иди в огород, нарви цыбули. — И — с досадой: — Ай-ё, приехали: ничо́го у огороде нема! — Впрочем, тут же жизнерадостно: — А, ничего, бульба — тоже еда!

От киевских односельчан мы знали, что Христинья живет одна. В войну, в партизанах, погибли и сын, и дочь, и зять. Вырастила, поставила на ноги внучку. Теперь внучка, уже замужняя, живет тоже в Киеве.

Огород Христиньин в полном смысле слова цел и благоухал. Возле хаты — несколько грядок овощей. Дальше, до самой дороги, ровные рыхлые борозды картошки. Над ними, по слободскому обычаю, взметнулись кое-где алые головки маков, сизо-зеленые зонтики укропа.

«Зачем ей, одной, такой огромный огород?» — подумала я, оглядывая эту ухоженную красоту. Вернувшись в хату, вопрос повторила вслух.

Христинья рассердилась неподдельно:

— Чем человек живой? Ра-бо-той!

— Продаст бульбу, — добавила Ксена. — Какая у нее пенсия? Гроші.

Христинья рассердилась еще больше:

— Ниякие не гроши! Пенсия у меня добрая! Я — заслуженная колхозница. Звание такое маю!

И — подробности: что из этого проистекает. Молока — бери с фермы сколько надо. Бесплатно. Электричество — бесплатно. Дрова привезут — бесплатно. Мясо — половина от себестоимости. Вывод:

— Живи — не хочу! Али ж ня будешь робить, то и станешь як тая Пронька. — Сгорбилась, изобразила клюку в руке, зашаркала ногами. — Годов на двадцать меня молóдее. От лени состарилась. А я? — Подбоченилась, лихо приотпнула босой пяткой, крутанулась на месте с припевкой: — «Як Лявониха ня жонка была...»

Потом, проворно накрывая на стол, выложила, как однажды рискнула на зиму уехать к внучке. Надо полагать, и там без дела не жила — двое правнуков растет.

— Али ж чуть ня сдохла. Ах, голова! . . Ай, хай яму халера, нейкое давление! Не, думаю сабе: надо прибиваться к дому. Вернулась, — як други раз на свет родилась!

— Летом, конечно, дел хватает. А зимой? . .

— А что — зима? Кто таперь прясть умеет? Овец усе держат. Идутъ, просятъ: «Спряди, Христинья, вбуну (шерсть)!»

Такса: треть выпряденных ниток — «гонорар» за работу.

— А то и кросна поставлю! — продолжала Христинья. — Теперь наши пастилки (шерстяные домотканые одеяла) опять в моде. Городские приедутъ, с рук рвутъ. А хто ткать умеет, хто кросна сберет? Христинья.

Да, насчет тканья она всегда была мастерица. Да и не только она. В каждой хате осенью девки, бабы все вечера сидели за прялками. Зиму — за кроснами.

Лишь по большим праздникам девки, бабы из семей состоятельных наряжались в ситцевые юбки-кофты. В будни одежда вся была домотканая. Ткачихи сидели за кроснами не разгибая спины. Спешили весь лен выткать к марту. В половодье света луг, примыкавший к задам деревни, устелен был скутами. Так назывались длинные вытканые полотнища. Намочив их предварительно в щелоке (зола от березовых дров, запаренная кипятком), скуты расстилали по снегу — для отбелики.

Были в деревне мастерицы, Христинья в их числе, из чистой шерсти выткать пастилки красоты необыкновенной, расцветок сочных, ярких. Узор для пастилки ткачиха придумывала, рассчитывала до последней нити сама. И краски добывала сама — из древесной коры, трав, цветов. Какие это были бесподобные краски! Уж пастилка вся расползается от старости, а светятся на ней по-прежнему розы, маки или цветы какие-то диковинные, порожденные фантазией мастерицы. Не линяли добытые из природы краски, не выцветали.

Чтоб мы, не дай бог, не усомнились в ее сегодняшних способностях, Христинья тут же выхватила из шкафа, расстелила по кровати чудо-пастилку: на черном фоне — розы, розы, розы.

Мы от души похвалили, а она — тоже от души — посетовала:

— Краски дрэнные. Покупные. Як свою зробить — забыла. Не до того было, чтоб помнить.

Пока мы занимались всеми этими делами и разговорами, Пронька времени даром не теряла: из хаты в хату. Как же, такая новость: к Христинье гости приехали!

Первой столь же резво, как Христинья, вся запыхавшись, прибежала толстая старуха. Меня мигом опознала:

— Ну, что, Марусечка, ти знаешь ты, хто я?

— Знаю. Ганна Артемова.

— О-о, узнала! Ты ж моя дороженькая! . . — Причитанья, объятъя, поцелуй.

Едва с Ганной разобрались — примчалась еще одна старушка — худенькая, прямо-таки прозрачная.

— А я — хто?

— Зенка!

И — все сначала. Так — раз, наверное, двадцать. Последним, от нового белокирпичного дома, степенно приблизился мужик.

— Здраву, Маруся! Ти знаешь ты, хто я?

Такой он был рыже-седоватый, кудрявый, что ошибиться невозможно.

— Панков. А вот который — не знаю.

Продолжение на стр. 33



О СЕБЕ

Я явился в этот мир в 1910 году — без проблем. В детстве и в школьные годы я очень желал иметь собственное средство передвижения — велосипед. Но мечта эта не сбылась.

После окончания средней школы (с большими трудностями) совершенно неясным для себя образом я попал в число студентов архитектурного факультета Государственного университета. Учеба все же не протекала так, как мне хотелось бы, и через три года я прервал ее.

Дальнейший луть привел меня в Академию художеств. Там мною занимались уважаемые профессора и художники — Убан, Аниус, Мнесинекс, Тоне, Элиас. Нас учили: сколько краски выдавливать на палитру — Коирад Убан; что главное в картине — это правильная длина человеческих костей — Карлис Мнесинекс; что, глядя против света с зажмуренными глазами, все вибрирует — Волдемар Тоне; и что о цвете никто ничего правильного сказать не может — Гедерт Элиас. Посвященный таким образом в тайны искусства и обогащенный знаниями, в 1942 году я получил диплом художника. Не зная лишь, что с ним делать в военное время.

После войны, вернувшись в Ригу, грелся в лучах солнца Отца Народов и вертелся с боку на бок, как умел. Эти «солнечные ванны» для разных художников были неодинаковы.

Как свидетельствуют дальнейшие события, сегодня я нашел свое место в ряду других художников. Могу смотреть на свет, не прижмуривая глаз, и краску на палитру могу накладывать, какую и сколько мне самому нравится, часто употребляемый в нашей стране лозунг — главное человек — созвучен моей живописи. С различных точек зрения пытаюсь показать это многожелающее и вечно неудовлетворенное существо — человека.

Аусеклис БАУШКЕНИЕКС

Панок — уличная кличка одного из наших ближайших соседей. Сыновей у Панка было множество. Все — погодки, все — в мать, рыже-кудрявые.

— Иван я, Маруся, Иван. На санках, помнишь? . .

От Панковой хаты, мимо нашей живой изгороди, мимо хаты Давыда, круто неслась к речке дорога. По зимнему времени — накатанная полозьями до блеска, с обеих сторон огражденная сугробами. Прямо-таки нынешняя саночная трасса. Со всей деревни каталась тут ребятня.

Воспоминания, воспоминания: «А тот где? А эта как? . .»

А тот — пропал без вести. А эту — фрицы повесили. А тот — в партизанах погиб . . .

Рабой слободке досталось особенно еще и потому, что оказалась она в ничейной зоне. В Осиновке — три версты отсюда — немцы. С Дубового — тоже три версты, но в другую сторону — начинался партизанский край. Немецкая артиллерия была по партизанам — залетали снаряды в Слободку. Завелись у партизан пушки и минометы — доставалось ненароком и от них. А что творилось, когда немцы сгоняли молодежь — увозить в Германию на работу!

Об очередной такой «акции» деревня узнавала мигом. Молодые прятались кто куда. А и не больно-то спрячешься: лесов поблизости от Слободки никогда не было.

— Верку Банадысеvu помнишь?

— Конечно. — Верка лет на пять моложе меня. Значит, в войну была уже девушкой.

Во время очередной облавы Верка убежать не успела. Забилась под пол. Не в погреб, не спутайте! Именно — под пол. Какой же страх гнал девочку, если потом, когда все утихло, выбраться из-под пола она сама не смогла. Отец ее, Банадысь, снял с забора длинную жердину, прицепил к ней вожжи, подал Верке. Теми вожжами Верка обвязалась. Тащили ее вдвоем Банадысь с женой — не смогли вытащить. Пришлось звать на помощь соседей. Не только одежда, все тело Веркино было изодрано в клочья.

Как известно, драматическому часто сопутствует смешное. От этого рассказа у меня мороз по коже продрал — так живо поставила я себя на Веркино место. Не успела опомниться — на-ко, новое Веркино приключение.

За бульбой или за сеном пробрались на нейтралку партизаны с подводой. Подводы одной им не хватило. Делились с ними слобожане кто чем мог. А Банадысь подобрал где-то раненого коня. Вылечил, выходил. Вот и явился за тем конем молодой партизан. Как ни удерживала Верку мать: «Бог с ним, с конем!» — девка ринулась в хлев, вцепилась в парня:

— Брат, не бери! Брат . . .

«Брат» в это время надевал на коня хомут. Надел, гриву выпростал и ответил, голоса не повысив:

— Иди на . . . , сестра!

Каковая фраза до сей поры живет в Слободке легендой.

Дошло дело до коней, и тут вспомнили, что младшая дочка доктора Красавицкого, я, стало быть, едва ли не от рождения была конятницей. Своего коня у нас никогда не было. Что мне оставалось делать для утоления любви? Лезть к чужим коням. Лет с четырех я уже ездила верхом. Кому, скажите, отработавшему с рассвета до сумерек, охота еще переться с конем на пастбище? А тут под ногами путается девчонка, смотрит умоляющими глазами, клянчит: «Давай отведу!»

— Веди!

Подставлена ладонь. В нее, как в стремя, босую левую ногу. Миг, и я на конской спине.

Каково я ездила, — это истощающе нарисовала Христинья:

— Гляжу — лятьи! Як валасы не оторвутся!

(Попробуйте, братья-писатели, придумать такую фразу!)

Тут вдруг Ганна вспомнила нашего отца:

— Батьку из могилы вытащил!

Полдеревни лежало в ту зиму в брюшном тифу. Артем, отец Ганны, тоже.

— Помирал совсем батька. Матка кажеть: «Бяги, Ганнуля, до докторку!»

Артем в жены взял еврейку из Бешенковичей. От нее получила Ганна огромные, даже в старости прекрасные, выразительные глаза.

Как теперь понимаю, у Артема было прободение кишок. В таком, очевидно, состоянии находился, что до больницы живым не довести. И отец прооперировал Артема в хате.

— Нас усих повыгоняли, — вспоминала Ганна. — Матка воды нагрела. Зробю доктор тую операцию. Али сам палец порезал. Тифом потом хвареу.

Как болел отец тифом — этого я не помню. Но легенда о том случае, когда он, именно так, как рассказывала Ганна, заразился тифом, в семье жила.

Стал Артем поправляться. — Артемиха попыталась всучить отцу «гонорар» — десяток яиц.

— Ай, закричу! — Ганна схватилась за голову. — Ай, ногами затопай!

Да, это было очень похоже на отца.

— Хворому тыи яйца як зелля (лекарство)!

И Зенка что-то свое вспомнила. Но Христинья положила конец воспоминаниям:

— А бульбочка тем часом сварилась. Гостюшкам с дороги перекусить надо. — Впрочем, и соседей радушно пригласила к столу.

Соседи — люди врожденно тактичные — тотчас сослались на неотложные дела.

Отдав дань и бульбочке, и нашим гостинцам, и «бормотухе», пришли мы в умиление. И самое время настало повидаться с тем, что называлось теперь в Слободке «Красавицкий сад».

* * *

Для того, чтобы десятки лет спустя неудержимо потянуло к такой встрече, чтоб нельзя уж было ее откладывать, нужен толчок. Он был.

По заданию газеты надо было написать статью о лесоводах Латвии. Одним из них оказался ученый Андрис Волдемарович Звиргзд.

В газетной моей жизни пуще всего я любила встречать людей, которых мысленно называла «святыми фанатиками». С ними легко находила общий язык, в них, если так можно сказать, влюблялась. Писалось потом о них — всласть.

Андрис Звиргзд был именно таким фанатиком. Цель жизни — украсить родную землю. Посадить, взлелеять на ней деревья новые, никогда никем здесь раньше не виданные. А не таким ли был и мой отец, насадивший на белорусской земле все эти буки, пихты, кедры? Как было не рассказать об этом? Добралась до кедров, и собеседник мой взвился, ринулся к шкафу, выхватил книгу. Раскрыл ее, полистал и сунул мне с вопросом:

— Ваши?

Книга — о редких деревьях в Белоруссии. На снимке, на целую страницу — аллея кедров. И подпись: «Кедры в селе Добрыгоры».

— Наши!

Что тут началось! Звиргзд буквально вцепился в меня:

— Что еще было у вашего отца? Постарайтесь вспомнить. Это страшно важно! Теперь это уже взрослые деревья. Акклиматизированные. Их семенам цены нет!

Что я могла припомнить? Мне было десять лет, когда семья наша отсюда уехала. Отчаявшись выудить хоть что-то, Звиргзд в изнеможении откинулся на спинку стула, потер виски, подумал. И — тоном, не терпящим возражений:

— Вы должны съездить туда! Обязаны! С любого дерева или куста, что будет вам незнаком, сорвите хотя бы один листик. Заложите в книгу, засушите. И — привезите мне!

— Но... — Подобной поездки в обозримом будущем я не планировала.

— Никаких «но»! И вообще: почему бы вам туда не переселиться? Вы — наследница. По закону — все это ваше!

— ?! . . .

Он рассмеялся — виновато:

— Натыкаюсь на бывших владельцев таких мини-дендрариев, — непременно хочу вернуть их туда. Растения погибают без присмотра. Подчас — от бескультурья.

Короче: он взял с меня слово, что съезжу на родину, сделаю все, о чем он просил.

Это и был тот толчок, после которого откладывать поездку стало решительно невозможно.

Маршрут, как будем смотреть, в какой последовательности пойдем, мы разработали еще в Витебске. Знали, что кедров живы, и потому оставили их напоследок. Тем более, что к ним подойти — мимо того места, где был дом. Такая встреча не может не быть печальной. Постойм, как на могиле. И — к кедров: порадоваться.

Настроенные сентиментально-умиленно, двинули. Церковь, когда-то казавшаяся огромной, теперь стала маленькой. Обветшала, зияла выбитыми стеклами. Серое бревенчатое здание школы уцелело, но пустовало — высокая трава возле крыльца. Вот уже должна была сверкнуть Кривинка и — не сверкнула. Мост, впрочем, был виден. Основательный, железобетонный.

Мост, мост! . . . По весне Кривинка бунтовала. У моста льдины лезли на бревна-опоры, громоздились одна на другую. Как ни боролись за мост мужики, чаще всего речка рушила его. Э т о т — не разрушит. Да и — кому рушить?!

У моста в Кривинке было самое глубокое, самое широкое место. Летом парни водили сюда лошадей — купать. Всхрапывая, лошади плыли. Держась за гривы, плыли рядом с ними парни. В жару мальчишки ныряли с перил моста в Кривинку.

Куда теперь нырять? Под мостом — канава. Да, широкая. Да, прозрачная. Да, с чистым песочком на дне. Но — канава. Прямая и потому потерявшая свое поэтическое имя. Даже вездесущей лозы не было на берегах.

Мы постояли на мосту, повспоминали, погрустили. Но — все-таки это была наша родная речка. Мы спустились к ней, разулись, вошли в воду. Она была по колено. Умылись. Перешли через речку и сели на травке — обсушить ноги.

Сидели, молчали. Вспоминали каждая свое, связанное с Кривинкой.

— Помнишь, Маруся, ту свадьбу? . . . — вдруг спросила Ксена.

Свадьба в деревне — событие. Не только слобожане, — со всей округи устремлялся народ в церковь: посмотреть на молодуху, на молодёнца. Тем часом, если венчалась пара не из нашей деревни, слободские парни непременно что-нибудь устраивали. То гужи на хомутах подрежут, то загвоздки, удерживающие колеса на оси.

Неписанный закон диктовал: от венца молодых везти во все конские ноги. А запрягали «под молодых» лошадой самых лучших. В крайнем случае — пару. Лучше — тройку.

С гамом и гиканьем, со свадебными песнями и оглушительным свистом рвала с места в карьер пара — лучше тройка. Легко представить, что за сим следовало. То лопнут подрезанные гужи или постромки. Нахлестанные, напуганные галдежом кони кинутся сами по себе. Раскатившаяся телега — сама по себе. То сломается еле державшаяся загвоздка. И хорошо, если молоденец ловок, сам успеет соскочить и молодуху сорвать с падающей телеги.

В том, что случилось со свадьбой, о которой вспомнила Ксена, слободские мальцы повинны не были.

Кто венчался, из какой деревни — не помню. Но ехать от венца должны были через мост. И было это ранней весной — четко помню разлив, тающие льдины на нашем, более низком берегу. Почему-то меня в церкви не пустили. Разрешено было только с горки посмотреть, как поскачет через мост свадебный поезд.

И вот с громом колес, со звоном бубенцов показалась наконец-то украшенная разноцветными лентами, красными бумажными цветами тройка. Так мчалась, что остальной поезд далеко от нее отстал. Красиво виляла по ветру фата невесты.

Влетела тройка на мост. И . . . треск, грохот. Кони, телега, молодые, кучер — все обрушилось в воду. И сейчас вижу: сорванная с головы невесты, плывет, медленно тонет фата. Наверно, невеста не умела плавать: с одной стороны жених, с другой — кучер, ухватив за руки, неистово молотя по воде ногами, тащили молодую к берегу, к нашему. Он был ближе.

А кони тем временем тонули, телега тянула их на дно.

Почему-то сосед наш, Давыд, не пошел в церковь. Стоя на своей горке, я видела, как он у самого моста рубил топором лозу: собирался, наверно, залатать плетень.

Давыд и бросился первым к тонущим коням. Головы их то исчезали под водой, то появлялись на мгновенье. Неслось тогда жалобное, жуткое ржанье.

Саженками Давыд мигом домахал до коней. Выхватил из-за пояса топор. Взмахнул и — поплыл к берегу первый конь. Вскоре — второй. Третий поволок уцепившегося за гриву Давыда.

Такое вот происшествие вспомнили мы с Ксеной. Как тут было не запеть тихонько старинную песню: «Поедешь венчаться, и рухнется мост . . .»

— А Варвара-то, Варвара! .. В то же лето, кажется? ..

Варвара — дочка хромого Кандраша, мужика бедного, многосемейного. Все необходимые поездки мама делала с Кандрашом. Сено свезти, огород вспахать — это тоже Кандраш. Пока мой младший брат, Коля, был совсем маленький, Варвара жила у нас в няньках. Потом обязанности няньки перешли ко мне. А Варвара, подружившись с мамой, с моей старшей сестрой Алей, как правило, ночевать приходила к нам. Еще и потому она охотно сбегала из дому, что Кандраш с Кандрашихой вечно «брехались». Летом даже к нам, через речку, доносились отголоски. Что-что, а брехаться в нашей деревне умели виртуозно. Пожелания друг

другу неслись самые «изысканные»: «Каб ты сох!», «Каб ты пох (распух)!», «Каб тебе скулля у сраку!»

В общем, как-то летом Варвара шла к нам ночью с вечеринки через мост. Наступила на доску, а второй конец ее возьми да и поднимись. Варвара полетела в воду. Плавать не умела. На ее счастье, рядом оказалась свая. Обняв ее, Варвара принялась звать: «Ратуйтя!» (Спасите!)

Пока докричалась, пока кто-то — не тот ли самый Давид, живший ближе всех к реке? — ее вытащил, натерпелась наша Варвара и страху, и холоду. Явилась вся мокрая, в самом прямейшем смысле слова лязгающая зубами. Как сейчас вижу: Аля, в одной рубашке, рвет с Варвары мокрую, прилипшую к телу одежду. Мама, тоже в одной рубашке, с черной, полураспустившейся косой на спине, льет на тряпочку водку из бутылки, чтоб растереть Варвару. А та умоляет:

— Не надо, Лизавета Хведоровна! Не лейте! Я лучше выпью!

Да, запросто можно было утонуть в Кривинке. И вот — тихо течет перед нами канава.

— Ладно, девчата, тут уж ничего не поделаешь. Пошли!

Что уж там, поредела живая изгородь. Далеко одна от другой отстояли елки. Некогда была — сплошная стена. Зато оставшиеся чувствовали себя прекрасно — на просторе, без помех, широко раскинули лапы.

С поредевшего строя елок и начался у нас с Ксеной разлад.

— Вырубили! Варвары! — И Ксена пошла проклинать слобожан в стиле см. выше.

— Да полно тебе! — возразила я. — Такая страшная война прокатилась. До елок тут было! Где людям взять дрова?

В самом деле: где? Ближайший лес, Зарецкий, — версты за две. Да и что за лес? Корявые березы на болоте. С лошадьёю заехать можно лишь зимой. Тайком, ночью. Услышат в Зарехах пилу или топор, — повыхватывают из плетней колья, сбегутся. А в войну — кто бы вообще в тот лес зайти осмелился?

Слов нет, поредел строй елей. Но, честное слово, мне жалко не было. А Ксена все сыпала проклятьями. Чтоб отвлечь ее, я напомнила:

— Надо поискать криничку. Если цела — напьемся.

Криничка — посреди лужайки, что в детстве казалась мне огромной. Весной лужайка протаивала первой. Проклевывались на ней толстые бледно-зеленые ростки ятрышника. Щепкой или палкой мы окапывали их, добывали сочные белые луковицы и с наслаждением поедали.

Был ятрышник. Цвел по всей лужайке лилово-розовыми плотными султанами. Но до чего же крошечной оказалась лужайка!

— Заросла, что ли? — недоумевала я.

— Не она заросла, — грустно сказала Ксена. — Ты выросла. Готовься: все уменьшится.

В густой цветущей траве отчетливо видна была тропинка — вела к криничке. Ни в одном деревенском колодце не было такой вкусной воды, как в нашей криничке. С другого конца приходили к ней с ведрами. Ходят, стало быть, и теперь.

Когда-то и сруба у нашей кринички не было — сгнил. Просто ямка. Нагнись — и отразишься в темной неподвижной воде, как в зеркале. Носить воду с кринички — моя обязанность. Небольшим белым эмалированным ведерком-подойником. Шла криничная вода лишь в самовар да в чугуны — на питье и еду. Для «технических целей» брали с речки, она ближе.

Теперь в криничку опущено было бетонное кольцо. Но воды было мало — на самом доньшке. Ничего удивительного: обмелела Кривинка, понизился уровень грунтовых вод. Стеклянная банка стояла рядом с

криничкой. Нагнувшись в три погибели, все-таки добыли воды, напились.

От кринички путь наш лежал к тому месту, где размещалась пуня — сарай для сена. У нас, впрочем, в пуню свозили и рожь, и малую толику ячменя — на крупу и муку для блинов, и еще более ничтожное количество гороха и бобов.

От пуни остались лишь вросшие в землю большие камни. Солнце нагрело их. Мы сели на камни. Отсюда, с горки, хорошо видна была часть деревни. Все хаты — на месте: Сахонова, Платонова, Зенкина. Церковь. Школа. Окна ее смотрят прямо на нас.

И — давняя обида, за целую жизнь не забытая, перехватила горло. Как же так? Ведь видели, не могли не видеть! . . .

А было так. Осенью, когда кончатся работы в поле, когда грязь на дорогах схватит морозом и она превратится в «груды», привозили в деревню молотилку. С рассвета до темноты звонко пела она в морозном воздухе. Сначала на дальнем конце деревни. Ближе, ближе, звончее день ото дня. На молотьбу собирали «толоку» — своей семьей, хотя бы и большой, не управиться.

Веселая это была работа! До седьмого пота, без перекуров и передышек, но веселая: «Хлеб наш насущный . . .»

Работала молотилка от конного привода. Ходила по кругу пара лошадей. Погонять их сажали мальчишку или девочку, вроде меня. Казалось бы: пустяковое дело. Сиди себе на бруске, к которому крепятся вальки конской упряжи, помахивай прутиком, катайся в свое удовольствие. Но: надо, чтоб кони шли ровно, ни быстрее, ни тише. А от катанья этого уснуть — запросто. Задремлет «погоняла», и кони тотчас поймут это, убавят шаг. И машинист, веселый, усатый молодой мужик, со своего высокого помоста у молотилки саданет тебя таким, в лучшем случае трехэтажным, что дремоты как не бывало.

Целый конвейер трудился у молотилки. В цепочке — и стар и млад. Оттуда, где сложены хорошо просушенные снопы, передают их из рук в руки. И вот сноп доплыл до помоста у машины. На нем — девка или молодичка из числа проворных. Ей — взрезать перевясло, передать сноп машинисту. Он — пихнет его в жадный зев молотилки.

С другой стороны молотилки — работа адова: в пыли, в обрывках соломы и половы, летящих из молотилки. Одним — отгрести в сторону зерно и мякину, другим — откидывать подальше солому деревянными двухзубыми вилами.

С высоты помоста машинист видел все. Глоткой обладал такой луженой, что и машину могла перекричать.

— Эй, подавальщики! Заснули? Машина впустую крутится!

— Эй, Хомка, обниматься в соломе будешь после — ночи теперь длинные! Маруся, мать-перемать, как у тебя кони идут?!

Не будь машинист такой горластый и всевидящий, наверное, не шла бы так споро и весело наша работа!

В день молотьбы о какой школе могла идти речь? В тот солнечный, с легким морозцем день, с рассвета дотемна, я крутилась на приводе.

А через несколько дней повесили в школе стенгазету. Делали ее учителя — школа начальная, четырехклассная. Ни один ученик не сумел бы написать т у заметку. На всю жизнь запомнила я жирно выведенный синим карандашом заголовок: «Ралигийная», т. е. «Религиозная». В нем меня — а было мне тогда лет восемь, не больше! — «долбали» за то, что я-де прогуляла школу из-за церковного праздника. Я, мотавшаяся целый день на приводе — до головокружения, до рвоты!

Много было потом в моей жизни и обид, и несправедливостей. Эта — осталась самой горшей, неистребимой, неизжитой. Сегодня понимаю: потому, что взрослые, учителя обогнали ребят.

Сидя на теплом камне, я глаз не могла оторвать от окон школы — теперь бездействующей: деревня объявлена перспективной. Ведь видели учителя, не могли не видеть девчонку, мотающуюся на приводе! Видели и — обогнали. Почему?

Да, мои родители были люди верующие. Да, ходили в церковь. И меня водили. Равно как ходили в церковь в деревне все. И тоже — водили своих детей.

Молотили у Давыда. И Зина, моя подружка и ровесница, не была в школе, погоняла коней. А еще раньше — Клавдя, Масей, Восип. Никого из них не обогнали учителя. Только меня. За что?

Думаю, за то, что они не любили наш дом.

Летом наш дом полон был народу. Приезжала из Москвы тетя Женя, сестра отца, с детьми Жоркой и Наташей. Двоюродные братья Дима и Аркадий. Из Витебска — Соня Артоболовская, дочь друзей отца.

Отец в те годы жил в Москве. Моего старшего брата Володю разбил, как тогда называли, детский паралич. Теперь бы сказали: полиомиелит. Помню, как увозили его на носилках: руки, ноги парализованы полностью. Отец годы и годы затратил на то, чтоб вернуть Володе хоть сколько-то движения. Больницы, санатории, поездки на грязи . . .

С тех пор, как случилось это с братом, мы, в Соломинке, жили в нищете: отцу не с чего было нам помогать. Снимал в Подмосковье, в частном доме, комнату. Уйма средств уходила на лечение. Не он нам — мама им с Володей помогала. Отправляла в Москву посылки с соленым салом, с домашними копчеными колбасами, со сбитым бабушкой маслом. Мы жили «натуральным хозяйством»: что сами с земли, со скота добыли, тем и кормились. Ни коня, ни мужчины в доме не было. Чтоб обработать нашу жалкую землю — да, мама нанимала. Чем расплачивалась? Шитьем. Всю зиму день-деньской сидела за машиной.

Да, держали корову, а потом, когда заболел Володя, и двух. Для того чтоб было из чего сбить и послать им масло. Поросят держали, кур.

Но ведь и нас в Соломинке оставалось немало: мама, трое детей, старенькая бабушка — мать отца.

Как мама ухитрилась нас одеть-обуть? Не знаю. Знаю только, что и в детстве, и в юности я ходила в том, из чего выросла Аля. Коле мама шила одежду из всякого старья. Но ведь и ей самой как-то надо было прикрыть наготу, бабушку одеть и обуть . . .

Да, сад плодоносил — раз в два года. Тогда сдавали его в аренду еврейке из Бешенковичей, братьям Сролу и Айзеку.

Да, если коровы приносили телочек, то растили их, продавали. Коровы наши, Красуля и Зузка, мать с дочкой, славились в округе как молочные. Телочек покупали охотно.

Но я уклонилась . . .

Итак, летом дом полон был народу. Воскресными вечерами приходили гости — сельская интеллигенция. Ксенины тетки-учительницы Юля и Варя. Ксена, ее старший брат Доня. Священник с женой и взрослой дочерью. В хорошую погоду располагались в саду, под вишнями. Пили чай, пели. То сентиментальные романсы типа: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды . . .» То — народные: «Вот мчится тройка почтовая . . .»

Если не было отца, пели и кое-что другое.

Отец обычно в начале лета привозил Володю. Он хоть и с трудом, но начал уже ходить. Стала двигаться одна рука. Пальцы, правда, остались скрюченными. Вторая рука висела, как плеть. Отец привозил Во-

лодю и через несколько дней уезжал — надо было скопить за лето денег, чтоб осенью повезти Володю на грязь.

Революцию отец «не принял». И если ссорились они с мамой, то попрекал ее «революционными» родственниками — Розовыми. Что уж в них было такого революционного — не знаю. Разве что когда-то кто-то из маминых многочисленных братьев, скорей всего дядя Шура, участвовал в «студенческих беспорядках».

Семья и в Соломинку-то попала потому, что отца знали в Витебске как «не принявшего» — человек он открытый, горячий, суждений своих скрывать не умел. Мог «загнать». Да еще и голод в годы гражданской войны выгнал. Попали, да так и остались.

Отец работал в Бешенковичах, в больнице, где был врачом единственным. Каждый день его отвозили и привозили на лошади. Была, конечно, и «частная практика». Чаще всего — ночная. В самую глухомань — стук в окно: «Докторку, мужик помирает!», «Докторку, баба няк не разродится!»

Теперь о таких хворобах, как трахома, чесотка, и не вспоминают. Тогда — повальное бедствие. Свои, слободские, приходили «на процедуры» к нам домой. Как ни стереглись заразы, а все-таки и трахому, и чесотку я подхватила. Помню адское жжение, когда отец мазал мне веки каким-то «синим карандашом».

Ну, и каков доход был от той «частной практики»? Каким «гонораром» могла вознаградить докторку полунищая семья? Десяток яиц или кусок сала. От которых отец отмахивался: «Больному, больному береги!»

Бытовал в те времена в белорусских деревнях обычай: хоть доктора к больному, хоть коновала — поросенка «слегчить», — по окончании процедур надо непременно угостить.

Помню, однажды отец, вернувшись с «визита», с хохотом рассказывал:

— Полезла хозяйка ухватом в печку. Тащит . . . ночной горшок! Полный блинов.

Как попал горшок в деревенскую хату — вполне понятно. Были в нашей местности небольшие имения — фольварки. В революцию фольварки разгромили. Попалась бабе эт-такая красивая, «облитая» посудина. Да еще с крышкой! Знала та баба назначение горшка? Нет, конечно. А — красивый, удобный, с ручкой.

— Для начала . . . Ну, сами понимаете, — хохотал отец. — Потом прикинул: сколько лет уж тот горшок в хате? Прожарен, промыт тысячу раз. Словом, продезинфицирован. А обижать хозяйку — грех. Ну и поел. И ничего со мной не случилось!

Но я опять уклонилась.

Словом, если не было отца, то непременно с большим чувством пели:

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.

Разумеется, пели и мы, дети, подростки. И — бог ты мой! — как уже тогда понятно было это: «сеятель твой и хранитель». Он жил рядом. Каково не сладко жил — это мы видели и понимали. В половине хат не хватало хлеба до новины. Не оттуда ли и белорусская песня, которую тоже певали:

Посылала меня мать, посылала меня мать,
Посылала меня мать зеленое жито жать.

Зеленое — не спелое. Жалко жать, а что делать? Семья вовсе изголодалась.

Или — того же порядка:

3 бульбы крупы, с бульбы каша, —
Пропади ты, доля наша.

Как это плохо, убийственно плохо, что теперь не поют в семьях! Пели бы, то и не врубала бы моя внучка Маша магнитофон во всю мочь — обалдеть можно от однообразного безумного ритма!

Эх, опять уклонилась!

Так вот: учителя на эти чаепития-пения не приглашались. Или — сами не хотели ходить: как можно, попасть в одну компанию с попом!

Словом, дружба с нашим домом они не водили. Ненавидели нас? Наверное. И — вот так расправились с девчонкой.

Я убежала с уроков. Мама объясняться с учителями не пошла. Сказала:

— Вся деревня знает, где ты была в тот день. Они не тебя опозорили — себя. Ни один человек в деревне не простит им эту ложь. Запомни: ни один!

А на следующий день, когда я зашла за Зиной, чтоб идти в школу, Зинина мать, Анюта-Давыдыха, легонько меня обняла:

— Не тужи, Маруся! Дрённые люди! — Помолчала, прибавила: — Кто лжеть, той и крадеть!

Дальнейшие события показали, что это — правда. Но об этом — после.

Почти вся моя жизнь прошла в газете. Если случалось мне собирать материал для критической статьи или, тем паче, для фельетона, любой факт я проверяла по всем доступным «каналам». Чтоб не обогатить, не причинить кому-то такую обиду, какую нанесли мне. Бывало: и лень, и все вроде бы предельно ясно, но . . . Словно молния вдруг высвечивала старательно, крупно выведенный синим карандашом заголовок: «Ралигийная». И я, зажав виски ладонями, заставляла себя искать: как, через кого, у кого бы еще проверить вот этот, вызвавший минутное сомнение факт?!

И ныне я горда тем, что ни разу, никто критические мои статьи не мог опровергнуть! Черту эту мою знал и наш редактор, ныне покойный Иван Семенович Волков. И потому задания трудные, с фактами путаными и сомнительными, доставались мне.

Горда я и тем, что на Прибалтийской железной дороге обо мне говорили: «Ну, эта разберется!»

Вот, стало быть, до чего можно додуматься, сидя на теплом камне, оставшемся на месте нашей пуни.

* * *

Ни единого листочка не смогла я сорвать для ученого лесоведа. Изрядно исцарапавшись, мы добросовестно обследовали ту полосу живой изгороди, где когда-то росли буки. И следа не осталось! Зато непролазными дебрями раскустилась желтая акация. На месте голубых елей, — их остались единицы, — на месте веймутовых сосен, кленов с листьями дивного узора — акация, акация. До старых, одичавших яблонь добрались ее заросли.

В парке, тоже забитом лиственной дичью, с трудом обнаружили папочку пихт. Зато — какой прекрасной стала лиственничная аллея! Стволы — в два обхвата. Ажурные пышные кроны, в вышине сомкнувшиеся сводом, щедро грело солнце. Стоял в аллее неповторимый аромат.

— Сядем, полюбуемся!

Сели. И тогда на одном из стволов, высоко, заметила я на коре рубцы от заживших ран. И — вспомнила . . .

Деревенская жизнь текла монотонно. Памятни в ней лишь события. Те два дня — сплошные события.

Было это осенью. Почти все с огорода уже убрано. Лишь на том куске, что примыкал к пуне, еще оставалась, наливалась соком и сладостью, белела капуста. Стало быть, очевидно, начало октября. Темнеет в эту пору рано, а керосиң надо беречь. Ложились спать «с курами».

Легли уже и в тот вечер, но еще не спали, когда раздался стук в ставню. Жорка приехал в отпуск, двоюродный брат. До Бешенковичей добрался на пароходе, дальше — пешком.

Ясно, все вскочили. Шум, смех, расспросы о москвичах. Тем временем Аля, всегда отличавшаяся хозяйственностью, развела в кухне, на загнетке печи, костерок из лучин. Зажарила на нем Жорке «яешню».

Жорка и поел, и молочка выпил, и улегся уже в постель. И мы улеглись. Но — не спали, было о чем поговорить. Гость в такую пору года — радость вдвойне.

Жорка во время войны пропал без вести. Погиб. О мертвых — только хорошее. Или — ничего. Но . . . Словом, по правде говоря, Жорка был большой чудак. Что называется, не от мира сего. Вечно он пребывал «в отсутствии» — в каких-то своих мечтаниях. Случалось, слабеньким тенорком, не вяжущимся с его хорошим ростом и отнюдь не хрупкой комплекцией, напевал какие-то церковные псалмы. Руки неумелые, гвоздя не забьет, навильник сена развалится ему же на голову. За все за это был собственной — младшей! — сестрой Наташей прозван «блажен-ньм».

Помню, бабушка в саду, на костре, варила в медном тазу варенье. Это теперь в любом доме заготавливаются на зиму целые шеренги банок с вареньем. И дети не больно на него злятся. В те времена чайная ложечка варенья — вожденное, не часто достающееся лакомство. А уж пенки с варенья! . . Мы вились вокруг бабушки вместе с осами. Довились:

— Несите по куску хлеба. Так и быть, намажу. Про Жоржика не забудьте!

Жоржик — бабушкин любимец. За то, что не носили его черти по деревьям и заборам, не рвал без нужды штаны. В отнюдь не всегда безобидные похождения молодого поколения не влезал.

Как я уже говорила, раз в два года сад у нас арендовали братья Срол и Айзек. Когда яблоки начинали поспевать, братья устраивали шалаш из соломы под самой лучшей яблоней, под кальвилем. Ночью караулили сад.

В Слободке у каждого хозяина были яблони. Но общеизвестно, что для мальчишек ворованные яблоки всегда вкуснее своих. Особым «геройством» считалось не нарвать яблок, а натрясти. Половина их при этом оставалась гнить на земле — сущий убыток арендаторам.

Итак, Срол и Айзек ночами неустанно обходили сад, чутко прислушивались к любому шороху. Днем — отсыпались в шалаше.

Айзеку тогда было лет семнадцать. Мне — лет шесть. Айзек научил меня самым отборным еврейским ругательствам. Мало того, посоветовал пересказать их отцу. Он-де очень моим познаниям обрадуется.

Отец вырос в Витебске, где национальный состав населения был пестрый: русские, белорусы, поляки, евреи. Всеми этими языками отец владел хорошо.

Мои познания в еврейском языке я выпалила при всем честном народе. «Народ» был в курсе таких слов — захохотал. Отец огорчился. Спросил:

— Откуда ты это все знаешь?

— Айзек научил.

— Ах, Айзек? Тогда — слушай. — И отец подробно разъяснил, какие все это нехорошие слова.

Что в городе, что в деревне — все равно от неких «языковых особенностей» ребенка не убережешь. Самый лучший метод им противостоять: сделать вид, что ничего «такого» сказано не было. Тогда авось ребенок забудет. Но если насчет «нехороших» слов устроено кем-то из взрослых собеседование, — будьте уверены: слова те войдут в необремененную информацией детскую память, как гвоздь в доску, с одного «удара».

Внимательно выслушав отцовскую «лекцию», я вскорости и продемонстрировала вслух, как я ее усвоила. Случившаяся при этом мама, «не отходя от кассы», высекла меня первым подвернувшимся под руку прутом.

Ксена старше меня лет на десять. В добрые минуты она опекала меня и защищала. А была она среди молодого поколения заводилой и выдумщицей всяческих проделок.

Молодое поколение всесторонне обсудило факт порки, главным виновником которой единодушно был признан Айзек.

— Надо ему отомстить. Не реви, Марка, сейчас отомстим!

Месть была продумана во всех деталях. Отец и Жорка в тот момент сидели под вишнями, уткнувшись в книги. Если они уткнулись — ничего более для них не существует.

— Всем взять книги! — дирижировала Ксена. — Всем сесть вокруг дяди Пети и Жорки.

Минут пять мы и посидели. Затем, повинувшись Ксениному дирижерскому жесту, тихонько «смылись», оставив книги на месте.

Срол и Айзек безмятежно спали, о чем свидетельствовал дружный, далеко слышный храп. Значит, можно действовать.

На случай косого дождя хозяева шалаша изготовили из соломы и лозовых прутьев плотный щит, которым и закрывался вход в шалаш.

Дима, Аркадий, Доня закрыли шалаш щитом. Для надежности подперли его в нескольких местах колыями, стоявшими под яблоней в виде подпорок отягощенных плодами ветвей. Ксена командовала:

— Начали!

И все мы принялись трясти ветки яблони. Яблоки забарабанили по шалашу. Арендаторы проснулись. С криками: «Ай, вай мир!» сделали попытку вырваться из шалаша.

— Ходу! — командовала Ксена.

И все мы в миг единый заняли свои места вокруг отца и Жорки, укрылись книгами.

Вскоре явился вырвавшийся из плена Срол.

— Доктор, ваши дети обтрясли яблоню. Кальвиль. Только что.

Отец с сожалением расстался с книгой. В недоумении оглядел «примерных» деток, усиленно занятых чтением.

— Этого не может быть, Срол. Дети все время были тут, со мной.

— Но, докторку! . . .

— Нет, нет, Срол! Это деревенские сделали. Н а ш и дети все время были тут. Жоржик, подтверди!

— Да-да, конечно! — подтвердил Жоржик.

Срол ушел ни с чем. Мы торжествовали: месть свершилась!

Но вернемся, так сказать, на исходные позиции. Итак, Жоржика бабушка любила. Я тоже была бабушкиной любимицей. Почему — непонятно. Обо мне бабушка говорила: «Маруся — ком золота!» Именно так: ком. За что уж мне досталась такая любовь — не знаю. Думаю, что

весьма нередко драла меня мама вполне заслуженно. А уж как меня дразнили «комом золота» — об этом и вспоминать неохота.

Ломоть хлеба, намазанный пенками с варенья, Жоржик получил в тот момент, когда, сидя в комнате у окна, с увлечением читал.

Свои куски мы слопали мгновенно. Образцово-показательный Жоржик лакомство смаковал — отрезал от него перочинным ножичком кусочки-крохотульки, отправлял в рот. Глаз от книжки не подымал.

Некоторое время мы снаружи, из сада, наблюдали за этими его, странными с нашей точки зрения, действиями.

— Давай стащим у него остаток! — предложила Наташа.

Сказано — сделано. Усевшись тут же, под окном, добычу на двоих разделили по-сестрински. И весьма нам было интересно: а что же Жорка?

А Жорка, по-прежнему не отрывая глаз от книги, потянулся к тому месту, где только что лежал хлеб с вареньем. Даже и пошарил. Ничего, конечно, не обнаружил. И лишь тогда поднял взгляд от книги. Убедился: действительно нету. Вздохнул и . . . продолжал читать. Подошла бабушка, погладила Жорку по черно-волнистым волосам:

— Вот умница! Всегда с книжечкой. Не то, что э т и . . . Хочешь еще — с вареньцем?

— Спасибо, бабушка! — ответил Жорка. — Я уже поел.

За что и получил поцелуй в макушку.

— Ну, не блаженный ли?! — возмутилась Наташа. — От варенья отказался!

Фраза «Спасибо, бабушка, я уже поел!» прилипла к Жорке ничуть не хуже, чем «ком золота» — ко мне. С самым, разумеется, издевательским смыслом.

Прервем на этом перечень Жоркиных странностей. Вспомним, что, лежа в постелях, мы беседовали. Кого-то, может, и в сон уже клонило. И тут Жорка повинулся:

— Я, тетя Лиза, кажется, сломал ворота. Никак не мог открыть.

К сведению лиц заинтересованных. На створке ворот болталось сплетенное из тонкой лозы кольцо. Надо закрыть ворота — кольцо набрасывается на столб, с которого начинается забор. Надо открыть — все наоборот. Как говорится, проще пареной репы. Жорка, однако же, не одолел.

Мы с Алей хихикнули. Мама слегка Жорку пожурила:

— Ах, Жоржик, Жоржик!

Но, вспомнив о воротах, Жорка и еще кое-что вспомнил:

— Да, кстати, тетя Лиза, там, около пуни, кони ходят.

В капусте, стало быть!

— Выгнал? — Мама в тайниках души еще на что-то надеялась.

— Да нет. Я подумал . . .

Что он там подумал — уточнять не стали. И без того Жорка пребывал в доме уже добрый час. Что кони могли натворить за час . . . Надо было немедленно спасать остатки капусты. Казалось бы, логика диктовала доверить изгнание коней мне. Я могла без страха взять за гриву любую лошадь в деревне. И от меня бы она не шарахнулась — любая лошадь меня знала. А брать за гриву надо было непременно. Бытовал в деревне неписанный закон: за потраву потерпевший возьмет — если сможет! — скотину «в хлев». Хозяин обязан возместить причиненные убытки. Это — свято.

Однако же мама меня за конями не пустила. Отправились с Алей, вооружившись деревянной трещоткой. Кони треска этого боялись панически и на огород потом ни за что бы не вернулись.

Через какое-то время — конский «топ» под окном. Мамин — с нотками торжества — голос:

— Маруся, выйди, посмотри: чей конь?

Ага, и Маруся пригидилась! Реванш — всегда торжество.

Ну, что? Одного взгляда было достаточно: привели Кандраша. Оно и понятно: Кандраш всех нас хорошо знал, подпустил. А что толку? По старой дружбе возьмет мама с его хозяина за потраву? Ни в коем разе.

Отпустить Кандраша с миром — тоже невозможно. Он не дурак. Прямохонько пойдет доедать капусту. Значит — что? Привязать возле дома. Но мыслимо ли, чтоб Кандраш целую ночь стоял голодный?

— Жоржик, Аля, сходите в пуню, принесите сена.

Как я злорадствовала — вслух:

— Вот — не взяли меня! И что теперь? Капуста поедена. Сено еще Кандраш поест!

В другой момент если не от мамы, то от Али наверняка достался бы мне подзатыльник. Тут — стерпели.

Мама разбудила меня затемно:

— Отведи коня. А то бедный Кандраш, со своей хромой ногой, его обыщется.

Безмерно довольная тем, что удалось начать день с верховой прогулки, возвращалась я домой в предрассветных сумерках. По-хозяйски осмотрела ворота. Жорка их не сломал — разворотил.

«Вот уж правда: блаженный! — подумала я. — Перелезть не мог, если уж открыть не сумел!..»

Постояла, поразмышляла: куда бы «цмыгнуть»? Слово это нуждается в расшифровке. В отличие от Али, хозяйственный раж никогда мне не был свойствен. И потому я была великим изобретателем от каких-то надвигающихся дел отвилиться, скрыться с глаз долой подальше. Варвара об этом говорила:

— Опять куда-то цмыгнула.

Цмыгнуть в тот момент очень даже не мешало. Ясное дело, что первым делом весь дом примется за уборку недоеденной капусты. Что достанется мне? Таскать на веранду тяжеленные, будто каменные, кочны. Брякнешь какой-нибудь особенно грузный, — мама тотчас скажет:

— Вот Аля... А ты?!

Нет, определенно надо было цмыгнуть. Куда?

Ответить себе на этот вопрос я не успела. По дощатому настилу моста застучали копыта. Так они бешено застучали, что будь на мосту Христиня, то и сказала бы: «Гляжу, лятить...»

Я обернулась и остолбенела. Разве что в толстых переплетенных подшивках журнала «Нива» могла я видеть такую сказочную красоту! Аллюром «три креста» мчался с моста прямо ко мне всадник.

До той поры образцом конской красоты была для меня Давыдова рыжая с белой лысиной «жаробка». Кляча она была в сравнении с тем конем, что стремительно приближался ко мне. Тоже рыжий, тоже с лысиной. Но — каков! Прости меня, Давыдова жаробка: я изменила тебе в миг единый!

На полном скаку всадник осадил коня — рядом со мною. Военная форма на всаднике, седло, синий вальтрап под ним — это на всю жизнь запомнилось мне с одного взгляда.

Всадник красиво, четко бросил руку к фуражке. А конь так и плясал под ним!

— Доброе утро, девочка! Это чей дом виднеется? — Нагайкой указал на наш дом.

— Наш.

— Есть дома кто из взрослых?

— Мама.

— Тогда — открой пошире ворота. Мне надо с ней поговорить.

Все-таки, наверно, он заметил, какими зачарованными глазами глядела я на танцующего в нетерпении коня. Истый конник понимает собрата по любви с одного взгляда. Всадник понял, с кем имеет дело. Похлопал ладонью по седлу впереди себя:

— Хочешь прокатиться?

— !!!

Он протянул мне руку, втащил и усадил впереди себя. Нет, ни одна лошадь в деревне не умела скакать так! Поистине: день неслыханного везения!

Дальнейшие события не сравнимы ни с какой сказкой. Ссадив меня, спешившись сам, всадник представился маме командиром эскадрона. Слова-то какие! Объяснил, что эскадрон участвует в маневрах. Пока еще не совсем рассвело, надо коней спрятать. У противника есть, как он выразился, аэроплан. Так вот: нельзя ли коней укрыть в ваших посадках?

— Пожалуйста, — сказала мама.

— Спасибо! — Он вскочил в седло и умчался.

И вскоре по липовой аллее, с развернутым, полыхающим на встречном ветру алым знаменем, на рысях, по три в ряд — пошли, пошли, пошли всадники. Кони под ними один другого краше. Все — рыжие.

Местом, где лучше всего укрыть коней от возможного аэроплана, командир избрал лиственничную аллею. От дерева к дереву протянули красноармейцы канат. К нему привязали коней. Стали их расседлывать, разнуздывать. Меня несло от одного коня к другому. Гладила. Траву рвала, кормила ею из рук.

— Не боишься? — дивились красноармейцы.

— Не-а.

— Может, скажешь, что и верхом ездить умеешь?

— Умею.

— Эт-то мы еще проверим!

— А хоть сейчас.

Тщетно зывала Аля с кухонного крыльца:

— Марья, завтракать!

С тем же призывом явился Жорка. Попытался ухватить за шиворот. Как бы не так: я спряталась за ближайшего коня. К нему Жорка подойти не осмелился. Солдаты хохотали. Жорка зывал:

— Маруся, Маруся же! Тетя Лиза тебя выпорет!

Под эту угрозу как раз и явился командир. Взял меня за руку — я и сейчас чувствую, как властно он это сделал.

— Пошли, Маруся. Мне как раз с твоей мамой опять поговорить надо.

Мама первым делом пригласила командира позавтракать с нами. Он вежливо, но твердо отказался:

— Как я могу завтракать, если у меня люди не кормлены? Кухня походная есть. Но затопи ее — любой поймет, почему из леса дым пошел. Нельзя ли вашей кухней воспользоваться?

— Пользуйтесь. Картошки возьмите. Аля, слазай в погреб, достань для них соленых огурцов.

— Ой, спасибо! Такое лакомство. Не беспокойтесь, мы с вами расплатимся. И еще: как бы нам сенца коням купить?

— Сена никто не продаст. Сами с половины зимы коров соломой кормим. Отаву скосить — пожалуйста. Маруся, отведешь на третий луг.

Мама помолчала. Сказала не слишком уверенно:

— Ваши красноармейцы . . . гм . . . нечаянно . . . поломали ворота . . .

Командир метнул в мою сторону взгляд, полный лукавства. Тут же стал за «неаккуратных ребят» извиняться. Заверил, что ворота будут починены.

Сутки простоял в лиственничной аллее эскадрон. Мама на меня рукой махнула: воевать с таким количеством лошадей ей было не под силу.

Обсохли, остыли кони после похода — надо было их напоить. Место для этого на речке выбрать такое, чтоб в случае появления аэроплана можно было сразу упрятать их под деревья. Я порекомендовала кедровую аллею, подходящую к Кривинке почти вплотную. Тут же было проверено мое умение ездить верхом. Одобрено. И вот: я сижу на самом красивейшем, на командирском. В руке — поводья еще двух. Ездить шагом я никогда не умела. Мимо окон, мимо крыльца — галопом. Бабушкин вопль мне вслед:

— Лиза, Лиза, куда ты смотришь?! Ребенок убьется!

И — успокаивающий голос красноармейца, скачущего за мной следом с еще одной тройкой:

— Ну, эта — не убьется!

Было мне тогда лет шесть-семь. Еще Коля, младший брат, на свет не появился.

Зажившие раны на лиственницах — следы конских зубов: изрядно тогда стволы погрызли.

В сумерках дня следующего эскадрон уходил. Всем домом вышли его провожать. Командир, разумеется, ехал первым. Возле нас рыжего своего придержал. Спросил у мамы:

— Можно Марусю прокатить?

Мама лишь рукой махнула: катайте! Прибавила строго:

— До Русилок, Маруся, не дальше!

И вот едем мы впереди эскадрона. Впереди знамени. Вся деревня сбегалась смотреть, как мы поедем. Было от чего переполниться гордостью!

Выбрался эскадрон за ворота, отлично починенные. Командир, обернувшись, скомандовал:

— Песню!

И — грянуло сзади:

Мы — красная кавалерия,
И про нас . . .

Музыка написана «под четыре ноги». Рыжий наш насторожил уши, поймал ритм. До самых Русилок ни разу с него не сбился. Прежде чем ссадить меня, командир сказал:

— Эх, жалко, что ты не мальчишка! Увез бы с собой.

Я всегда жалела, что по какой-то роковой ошибке родилась на свет девчонкой . . .

Естественно, что из Русилок я цмыгнула в деревню. Хвастать направо и налево своими кавалерийскими делами:

— А я . . . — Только начала и — разинула рот в полном изумлении.

Вот как теперь, в космический век, описать событие, потрясшее нашу деревню? Кто сегодня поймет, как это было событие?

Ну, в общем, так. Завиднелось на деревенской улице не что. Довольно-таки большая т е л е г а катила сама собой, безо всяких лошадей впереди. Сегодня понимаю: то была легковая открытая машина, по-видимому «фордик».

За этим не что неслась вся деревня, от мала до велика. С разинутыми ртами, с вытаращенными глазами. Возле школы не что остановилось. В нем сидели военные. Один из них спросил:

— Как проехать в Рубеж?

Сегодня любой мальчишка подошел бы, объяснил, где свернуть направо, где — налево. Тогда никто приблизиться к чудищу не посмел. Орало издали. А так как орали все, то ничего военные понять не могли.

Единственный, кто осмелился приблизиться, был дед Сахон. На всякий случай все же обстучал машину палкой. Затем обстоятельно объяснил, что через Зареки и Пожарища — ближе. Но — плохая дорога. На Русилки и Дубовое — дальше. Зато дорога хорошая.

Военный, что сидел рядом с шофером, поблагодарил, взял под козырек. Машина фыркнула и тронулась.

Что тут началось! В минуту опасности, скажем, когда сорвался с привязи свирепый Тюшкин бык, какой есть способ спасения? Перемахнуть через ближайший плетень.

Что толпа дружно и проделала. Ближайший плетень — деда Сахона — разумеется, обрушили. Машина уже давно исчезла из виду, а толпа все еще неслась в панике куда-то по огородам. Слава богу, убранным.

Такова была моя первая в жизни встреча с машиной.

Посидели мы в лиственничной аллее, повспоминали, посмеялись. Дальше — неизбежно предстояло встретиться с тем местом, где когда-то стоял наш дом.

Почти там же виднелся сквозь деревья дом чужой. Безмятежно белели на окнах тюлевые занавеси. Учув нас, гремел цепью, густым басом лаял пес. Под этот брех мы начали фальшивить.

— Здоровенный! — сказала Ксена.

— Как бы не сорвался! — прибавила Наташа: она боялась даже самой ничтожной шавки.

— Да уж . . . Такой сорвется — мало не будет, — сказала я.

И мы решили не рисковать. Подвели «базу»: ну что мы там увидим? Ну, остатки фундамента. Ну, как водится, бурьян. Нет уж, ради этого не стоит связываться с собакой.

Конечно, не в собаке, совсем не в ней было дело. Просто знали: и камни эти, и бурьян видеть будет тяжело. И — отвильнули.

— Пройдем через парк к кедровой аллее — самое разумное.

Продрались сквозь чащобу бывшего парка, вылезли на первый луг, обернувшийся крошечной поляной.

— Давайте сначала посмотрим второй луг, третий. Кедры — на обратном пути.

И — вот они, луга наши. Какие жалкие клочки! Не было ни березовой рощи на втором лугу, ни тех елочек, меж которых, бывало, росли рыжики, на лугу третьем. Зато лоза из канав расплзлась во все стороны, отвоевала себе место под солнцем.

С тем — отправились к кедровой аллее. Как она была хороша! Высоко в небо взметнулись пушистые макушки. Нижние ветви почти лежали на земле. А сколько шишек! Светло-зеленые, небольшие.

Кедры мы пересчитали: двадцать два. Гм, аллея?!

За кедрами, как когда-то у нас, прилепился к пригорку огородик с овощами. Ухоженный, благоухающий. На пригорке — аккуратные борозды картошки. Словно бы и не отделяли нас от тех времен десятки лет!

Чтоб не будоражить угомонившуюся наконец-то собаку, возвращаться решили берегом Кривинки. На деревенскую улицу выбрались возле моста. Тут и настигло нас возвращавшееся с пастбища стадо. Важно, с чувством собственного достоинства, шли и шли мимо нас крупные, сытые коровы. Сиво-палевые, с россыпью мелких коричневых пятнышек на боках. Шортгорны, — определили мы с Ксеной. Вымя у каждой — с добрую, доверху полную хозяйственную сумку.

Наши коровы, слывшие в округе молочными, рядом с этими ведерницами показались бы захудальными коровенками.

Бывшая Кривинка, а ныне канава, вся залита была красноватым светом низкого солнца. Мы остановились — полюбоваться игрой света на воде. Заодно принялись с Ксеной высчитывать: сколько же у нас тогда выходило молока в год на «фуражную корову»? Смешные это были подсчеты. Попытаюсь их воспроизвести.

Общеизвестно: летом, с пастбища, корова дает наибольшее количество молока. Пока не наступила жара, пока не донимают скот оводы и слепни, на дневной отстой в хлев коров не пригоняют. Мама или Аля отправлялись доить коров на пастбище. Доенка наша — литров на восемь, не больше. Но никогда ее не приносили полную. Стало быть, литров шесть от двух коров. Три литра от каждой. Утренняя, вечерняя дойки — еще по три литра. Итого: девять на корову. Осенью, зимой — хорошо если надойтся половина. Два месяца в году корова в запуске. Отнимаем, множим. Ну, что? Нет, по две тысячи литров на корову у нас никак не выходило.

И это при том, что коровы дома получали подкормку. В мою обязанность входило взять серп, надеть старые рукавицы, нажать по кустам, где не подступиться с косой, две, а то и три корзины травы — битком, под самую ручку. Раз в день, если только на ночь. А если днем коров пригонят, то — два раза.

Произнесено слово «серп», и Наташа вспомнила:

— Помнишь, Марка, как мы с тобой подрались из-за серпа?

Конечно, помню. Весной мама в виде пробы засеяла крохотный клочок земли яровой пшеницей. Выросла она не очень высокая, но густая, ровненькая. Госпела — стала темно-золотой. Нам с Наташей поручено было ее сжать. Серпов в доме два. Один — старый, с истончившимся, проржавевшим лезвием. Второй — новехонький, сверкающий, с небесно-голубой ручкой.

Из-за этого серпа мы и заспорили. У меня свои доводы: во-первых, я — хозяйка; во-вторых, я жать умею, Наташа — нет. У Наташи свой довод: — Я старше!

Слово за слово — поругались. Потом — подрались. Затем — четырьмя руками вцепились в серп. Каждая рвала его к себе. Итог: мизинец на моей левой руке «распахан» до кости. Рубец на нем есть и по сию пору.

— А Зузку-то, Зузку — это же мы с тобой испортили!

— Безусловно.

Зузка была уже довольно большой телкой, когда мы с Наташей надумали кататься на ней верхом. Такой способ эксплуатации не был заложен в Зузких генах. Она сопротивлялась. Лягалась. Иной раз поддавала нам хотя и небольшими еще, но весьма ощутимыми рогами.

Конечно, мы знали, что взрослые наши действия не одобряют. Прятались с Зузкой по кустам. В конце концов нас, естественно, поймали на месте преступления. Схлопотали по подзатыльнику. С предупреждением, что в следующий раз . . .

До следующего раза не дошло. Но злое дело уже было сделано: Зузка научилась бодаться и лягаться. Отелившись в первый раз, доиться не давалась. Пришлось, обвязав рога веревкой, ставить Зузку «в угол». Задние ноги спутать, хвост привязать к ноге.

Повзрослев, Зузка слегка угомонилась. Хватало и того, чтоб перед дойкой спутать ей задние ноги. Затем доярка должна надеть мамино старое плюшевое пальто. Сесть под Зузку так, чтоб она могла дотянуться до спины доярки. И — лизать шершавый плюш. За теленка она его, что

ли, принимала? Даже летом, идя доить на пастбище, пальто надо было тащить с собой. Иначе Зузка не отдавала молоко.

Пастухи ее за бодливость терпеть не могли. Мимоходом она и человека могла запросто «посадить на рога».

И — вот такой эпизод.

Я стояла на кухонном крыльце. Коля — было ему годика два — уселся на землю у самых дверей в хлев.

И — из-за угла высочила Зузка. Подгоняемая больно секущими оводами и слепнями, устремилась в хлев. В глазах у меня потемнело: «Все, сейчас забодает Колю!» Подскочить, выхватить его я бы не успела . . .

Зузка, умница, аккуратно обежала Колю, скрылась в хлеву. Он даже испугаться не успел.

Вот так, переключившись с подсчетов удойности на воспоминания, мы и стояли на мосту. Пока не высочила из хаты Христинья, не заорала на всю деревню:

— Ти вы будете вячерать?! Ти як? . .

* * *

Не только повячерать, мы и в хату войти не успели, как примчалась Анюта Алексеева. Как же, всем известно: у Христиньи коровы нет. А у нее — гости. Значит . . . Анюта сунула мне в руки трехлитровую банку молока. Еще теплую:

— Во, пейте на здоровье!

— Спасибо, Анюта. Сколько я тебе за нее должна?

— Ты что?! — замахала руками Анюта. — Побойся бога!

За Анютой — Зенка, Валя Давыдова, Ганна Артемова, Паланея — все с трехлитровыми банками.

— Бабоньки, милые, куда же нам столько?! Нет, нет, спасибо. Но — не надо.

— А-а, — взывала Ганна. — У Анюты узяли! У меня — ня бэрате!

Такая обида в голосе: и не надо, а возьмешь.

Взяли у Ганны — заголосила Зенка:

— А-а, у Ганны узяли . . .

На шум явился Иван Панков. Естественно, с трехлитровой. Христинья сначала опешила от такой «молочной реки». Но безвыходных положений для нее отродясь не бывало.

— А-а, — хлопнув себя ладонями по бедрам, провозгласила она, — бэрям у усих! Без обиды.

Хор «дающих» отозвался мгновенно:

— Ей прауда, Христинья!

Небольшой холодильник у Христиньи был. Но сколько туда влезет? Христинья повыкидывала, как она выразилась, «транты» (тряпки) из стоящей в сенях скрыни, упрятала в нее банки.

Заужином на всю компанию полбанки молока одолели. Было оно, слов нет, вкусное необыкновенно. Густое, ароматное. Но мы, трое, давно стали горожанами. От т а к о г о молока отучены.

Христинья не унывала:

— Завтра крупеню сварим. — Крупеня — молочный суп с крупой. — А можа, клецки бульбяные?

— О-о! — взывали мы.

Бульбяные клецки — белорусское народное блюдо. Натереть на терке сырую картошку, отжать лишний сок, посолить, яичко добавить. Скатать в ладонях клецки-кругляши и опустить их в кипящее молоко. Обьеденье!

Пужинав, прибрав посуду, вышли из хаты. Дружным рядом, плечом к плечу, уселись на завалинке.

В низине, у реки, клубился туман. День отстоял жаркий. Теперь наступила мягкая, блаженная прохлада. И — такая тишина, что звенело в ушах.

Когда-то об эту пору деревня не знала тишины. Отвечеряют в хатах, и где-нибудь в дальнем конце запоет гармошка. Хоть какие строгие ни будь батька с маткой — сына или дочку не задержат. Молодым погулять — святое дело.

Если Кривинка весной разворотила мост, мальцы воровали у собственных отцов доски, починали настил на совесть. Летом мост — место, где собиралась молодежь. Там и песни, там и танцы. Чаще — босиком: «Боты (сапоги) берегчи надо!» Это, конечно, в будни. К вечеринке праздничной мальцы готовились загодя. Каждый покупал в Бешенковичах у кузнеца Хаима запас железных подковок для сапог. К праздничной вечеринке сапоги подбивались заново.

И, отхвывая развеселого «кадрыля», какой-нибудь Хомка самозабвенно садил подкованными каблуками в мостовой настил. Чем громче, тем лучше. Плечи развернуты, голова вскинута гордо. На лице — выражение победительно-отрешенное.

Было для такого вида в местном лексиконе определение: «Во, выходка!»

Натурально, Хомку тут же постарается переплясать Восип или Хведор. «Грук» пойдет такой, что диву даешься: как выдерживает многотерпеливый мост?

... Ни гармошки не слышно, ни «груку».

— А что удивительного? Не стало молодежи в деревне.

— Не! — живо возразила Христинья. — Есь молодёе. Много. Колхоз дворья. Заобляют добра. — Тишину объяснила так: — Телевизоры у каждой хате! — Добавим: в ее собственной — тоже.

Константин Паустовский в те времена, когда вошли в моду транзисторы, от которых и в глухом лесу спасу нет, написал: «Радио из великого блага превратилось в величайшее бедствие». Что бы написал он о телевизоре, который полностью лишил людей общения? Вспомним: как мы, будучи уже «в годах», встречали, допустим, Новый год? Собирались в дружеские компании. На столе — пара купленных вскладчину бутылок да «малиновые россыпи» винегрета. А как пели, как танцевали! Ныне, при том, что дружно клянем нехватку продуктов, столы ломаются. Обожремся — именно так! — в полусонном состоянии плямимся на экран телевизора. Клянем бездарную — опять! — программу. Все!

— Ай, — не унывала Христинья, — хай ен сдохнет, той телевизор! Давайте спяём, дзяучатки! — И завела — низко, протяжно:

Калых-калых, бярезина, балить мая сяредина...

Лучшим певуном был когда-то в округе пастух Никон. Не из нашей деревни. Из года в год он подряжался пасти слободское стадо. С весны до осени кочевал из хаты в хату. Кочевье это называлось «рядовкой». За пастьбу каждой коровы хозяева должны на сутки обеспечить Никону ночлег, одежду, еду. Сами можете давно сидеть без хлеба — пастуха надо накормить досыта и не абы как. И еще: дать ему подпaska.

В этой роли не раз пришлось побывать и мне. Тут побегаешь вокруг стада! К пастбищу со всех сторон подступили ничем не огороженные поля и покосы. А в стаде найдется — и не одна! — корова, что норовит залезть «у шкodu». Хотя бы и наша Зузка.

Но вот наедятся коровы, лягут пережевывать жвачку. Никон выберет местечко повыше — и сухо, и стадо на глазах — скинет с плеч армяк:

— Садись, Маруся!

Вытащит из торбы начатый лапоть. Плетет и поет. Знал он неисчисли-
мое множество песен. Отец, бывало, к дням нашей рядовки припасал
бутылочку. За ужином пропустят с Никоном «по первой», и отец просит:
— Спой, Никон!

Его дважды просить не надо. От Никона научилась я белорусским
песням. Казалось: давно все их забыла. А завела Христинья: «Калых-
калых, бярезина. . .» — и мы запели тоже.

Сумерки сгустились, когда подошел к нам мужчина — невысокий,
плотный, в выдавшем виды, но вполне «фирменном» джинсовом кост-
юме. Поздоровался.

— Наш ветеринар, — пояснила Христинья. — На вашей, Маруся, ся-
либе¹ дом ему поставили.

Мы потеснились, пригласили го-тя сесть. Для начала он похвалил:

— Хорошо поете! — Говорил по-русски, хотя и с жестким белору-
ским акцентом. — Издалека слышно. — Помолчал, спросил: — Которая
же из вас — Красавицкая?

Коротенький разговор завершился так:

— В воскресенье — милости прошу в гости!

У нас столько уже было приглашений — времени не хватит половину
принять. Что нам незнакомый человек, если знакомым отказываем?

Тут, не дав нам, как говорится, и рта разинуть, властно вмешалась
Христинья:

— Придуть, Трахимович! — И — нам: — Не обидьте! Дужа добрый
человек Иван Трахимович!

— Спасибо, бабушка Христинья, на добром слове! — И — нам: —
Ждем с женой к обеду. Теперь — извините: дома дел много, пойду. —
С тем — ушел.

— А и вам спать пора с дороги. . .

Христинья обязанности хозяйки знала четко. Пока мы себе прогули-
вались, она не раз сбежала к Ивану Панкову, разжилась у него свежим
сеном, набила сеники. На них мы и улеглись, на добела отмытом некра-
шеном полу.

Поговорили, повспоминали. Уж и дремать стали, когда раздались возле
хаты шаги. Потом — осторожный стук в окно. Мужской голос окликнул:

— Бабушка Христинья! Открой, бабушка Христинья!

Накинув юбку, Христинья метнулась в сени. И — переговоры оттуда:

— Вот, возьмите, бабушка Христинья. Извините, что разбудил: жена
поздно с работы пришла.

— Ай, спасибо, спасибо!

Христинья вернулась, что называется, помирая со смеху:

— Трахимович. . . Молочка. . . Баночку. . . Трехлитровую. . . Не,
дзезуки, с голоду не пропадем!

Тут и мы разразились хохотом.

«Молочная река» изливалась на нас каждый вечер. Попробуй не
взять — причинишь смертную обиду. Дня что-нибудь через три Хрис-
тинья, заглянув в скрыню, изрекла саркастически:

— Вы ж поглядитя, поглядитя! Что ж творится!

Заглянули в скрыню. Вся она, под самую крышку, заполнена была
банками с молоком. В два, а то и в три ряда — скрыня у Христиньи высо-
кая.

— Это ж пропадет молочко! — продолжала Христинья, прохихотав-
шись вместе с нами. — Это ж грех великий!

¹ Сялиба — усадьба.

Обсудив создавшуюся проблему всесторонне, решили, что выход один: снять сметану — третья часть любой банки, — сбить из нее масло. Снятое молоко пустить на творог.

— Скольки мы яго зъядем, того творогу?! — не унималась Христинья.
— Курам скормишь.

На мгновенье Христинья задумалась. Но «выход» был единственный, и она его приняла. Чтоб технология была безотходной, сыворотку положили отнести пороссятам Ивана Панкова.

* * *

Утром самым первым меня разбудила петушиная перекличка. Мама, бывало, «переводила» ее так:

Первый петух: — В Костроме бы-ыл!

Второй петух: — А какво та-ам?

Первый петух: — А побывай са-ам! . .

Нежно-розовый рассвет смотрел в окно. Спать мне вовсе не хотелось. И хотя «ходики» на стене бойко отсчитывали всего лишь начало часа пятого, я тихонько встала, добыла полотенце, зубную щетку и все такое прочее, вышла из хаты. Босиком, как в детстве.

Травушка-муравушка, подступившая к самому Христиньному порогу, была вся серебряная от росы. Обожгла ноги. Прохладный воздух так и рванулся в легкие. Какой в нем букет ароматов! Картофельная ботва дала свой. Укроп — свой. Вчера Иван Панков обкосил на Христиньном огороде обочины. Прокосы привяли. Нежно и терпко запахла в них каждая травинка.

А тут и стадо плотно, кучно пошло на пастбище. Я двинулась следом. Стадо спустилось к реке. Коровы долго, с наслаждением пили. Я тоже зашла в воду, тоже напилась из горсти.

Незнакомый пожилой пастух стоял на мосту. Спросил:

— Каково пьется рѳдная водичка? — Конечно же, знал о нашем приезде, знал — кто мы.

— Дужа добра пьется!

— Рѳдная, зато и солѳдная!

Выбралось из воды стадо, заторопилось на пастбище. Мне оставалось умыться. Но . . .

Вода в Кривинке всегда была «бегучая». Она осталась такой и теперь. Не холодила — согрела остуженные росой ступни. Пескарики-мелюзга сновали, тыкались в ноги. И я решила: искупаюсь. Найду местечко поглубже, подальше от деревни. И пошла вверх по течению.

Положим, местечка поглубже я не нашла. Но и по колено воды — достаточно, чтоб покрыла спину, если лечь плашмя. Все равно — наслаждение. Много времени спустя обо всем этом, вплоть до купания в Кривинке, я написала бывшему односельчанину, живущему в Сибири. Он откликнулся так: «Не только искупаться — ноги в Кривинке помочить, и то счастье!»

День предстоящий мы отвели на то, чтобы сходить на кладбище, навестить могилы нашего общего предка и другой родни.

Об умирающих в Слободке говорили:

— Скоро пойдет на гѳру.

Да, кладбище было на горке — редкость в здешних равнинных местах. На той стороне горки, что сбегала к речке, давно уже не хоронили. Когда-то положенные в виде памятников камни-валуны вросли в землю. Бугорки могил лишь чувствовались под ногами в высокой траве. Как она цвела, как благоухала!

Почему вспомнилась картина Левитана «Над вечным покоем»? Не знаю. Внешне — ничего общего. И все же . . .

Разрослось кладбище в сторону от речки противоположную. Вчера, сидя с Христиной на завалинке, вспоминали сверстников, соседей.

Панчиха, мать Ивана, пекла партизанам хлеб. За это — расстреляна. Анютю-Давыдику накрыло снарядом. Дети и зять Христины погибли в партизанах. Хомка Кандрашов пропал без вести . . . Из тех мальчишек, с кем каталась с горки на санках, с кем гоняла взапуски верхом, с кем училась в школе, остался лишь Иван Панков. Единственный!

Известно: в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии погиб каждый четвертый.

Каждый четвертый . . . Детские беззаботные лица прошли в памяти одно за другим. И — погиб, погиб, погиб. Некоторые упокоились здесь. Знакомые имена на крестах, на вполне «городских», очевидно недавно поставленных, памятниках. Постоять, помянуть всех . . .

Но Ксена — человек действия. Слов нет, могилы наши заросли. Холмики еле просматривались. Ксена заранее вооружилась топором, пилой. Принялась рубить и пилить. Нас с Наташей заставила таскать срубленное, спиленное вниз, в кусты.

Бог ты мой, как мне до сих пор жалко, что измяли, затоптали мы печальную кладбищенскую красоту! . .

* * *

По дороге в гости к ветеринару Ксена ворчала:

— Не нашли другого места, где построиться!

Честно говоря, и у меня на душе скребло. На могиле нашего детства встал этот небольшой домик. Положим, те, кто в нем жил, ни в чем перед нами не были виноваты. И все-таки . . .

Но — слово дали, что придем. Назад не повернешь. Вот уже и хозяин идет нам навстречу липовой аллеей.

Вчера он, в своем джинсовом костюме, был абсолютно современен и в поведении своем раскован. Теперь к нам приближалась фигура чопорная. «При полном параде»: новехонький костюм, светлая рубашка, галстук. Прилизаны на косой пробор волосы. И — диссонанс: лицо с тем кирпично-коричневым загаром, какой бывает лишь у крестьянина. У того, кто круглый год подставляет лицо ветру и солнцу.

Лицо излучало радушие:

— Милости просим, гости дорогие!

На пороге — жена, местный зоотехник. Ей, как и мужу, непривычно-стеснителен был модный праздничный наряд.

Перешагнули порог и окунулись в обстановку стандартную: традиционная «стенка», ковер. Палас на полу. Парадно накрыт стол с красивой дорогой посудой, с щедрым изобилием закусок. С бутылкой лучшего армянского коньяка в центре. И — букет красного шиповника. Нашего . . .

— Прошу, прошу, гости дорогие!

Застолье у людей незнакомых обычно порождает неловкость. О чем говорить? . .

Иван Трофимович не допустил тягостной паузы. Едва уселись, как он обратился ко мне:

— Сколько вас осталось, Красавицких?

— Четверо.

Он налил в крохотные рюмочки по глотку коньяка. Взял свою, погрел ее в ладони, встал и, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— Выпьем за то, чтоб однажды вы, все четверо, собрались за этим столом!

И — комок в горле от того, как искренне, от души было это сказано!

Бытует мнение, что коньяк расширяет кровеносные сосуды. Тот глоток, что был нами выпит, расширил в с е.

Иван Трофимович, словно извиняясь, рассказал, как и почему он взял себе это место под сядлибу:

— Красиво. Тихо. За ветром. Но что за место — понял окончательно только тогда, когда поселился. Отдых душе, вот в чем дело. Прекрасное место!

— Летом — да. А зимой? . .

Мне вспомнился случай в последнюю нашу зиму, и я о нем рассказала.

Тогда весь день крутила метель. Занесла наш домишко так, что и ставни на ночь закрыть невозможно — не пробиться к ним сквозь сугробы. К вечеру метель утихла, ударил мороз.

Зимой, в холода, все мы ютились в одной комнате — так было теплее и дров меньше расходовалось.

Варвара в тот вечер осталась ночевать у нас. Чтоб скоротать долгий вечер, играли в подкидного дурака.

Первым подал сигнал тревоги Тобик — рыжий пес «дворянских кровей». Заскулил, стал царапаться в кухонную дверь. Потом — завыл, забился под веранду. Глухо, тревожно замычали коровы.

Дело ясное: волк ходит поблизости. В общем-то для нас такой «гость» был не редкость. Но все равно — страшно.

— Надо впустить Тобика в кухню, — сказала мама. — Наверно, волк где-то рядом. — И она встала.

Варвара опередила ее, выскочила в большую проходную комнату, совсем темную. И тотчас метнулась обратно. На ней, что называется, лица не было.

— Тут . . . Под окном . . . Вочи (глаза) . . . Як тыи . . . свечки . . .

Мама вышла в большую комнату. Меня выгнала следом за нею смесь отчаянного страха и любопытства.

До сих пор стоит перед глазами: два ярких, зеленоватых немигающих пятна в окне. Снег — выше подоконника. Зеленые пятна — в верхней створке окна. Казалось: вот сейчас лобастой своей башкой вышибет стекло и . . .

Сейчас понимаю: мама наша была отважным человеком. Она отстранила что-то лепетавшую Варвару, взяла со стола керосиновую лампу и, держа ее высоко над головой, приблизилась к тому окну, за которым стоял волк. Варвара закричала в ужасе:

— Лизавета Хведоровна, Лизавета Хведоровна! . . — Словно мама прямым ходом лезла в волчью пасть.

— Отстань! Замолчи! — Мама с досадой дернула плечом, еще выше подняла лампу.

Сколько мы простояли так — не знаю. Но через какое-то время утих Тобик. Перестали мычать коровы.

— Все! — с облегчением сказала мама. — Ушел. — Впервые голос у нее дрогнул.

Утром мы разглядывали на сугробе под окном четко отпечатавшиеся на плотном, укатанном метелью снегу следы. Огромные! Тобик наш — крупный пес. Волчьи следы были раза в три больше Тобиковых.

Выслушав все это, Иван Трофимович сказал:

— Бывает. И теперь — не без того. — Кивнул на висящее на стене охотничье ружье. — Выйду, пугну. — Чтоб «сменить пластинку», предло-

жил: — Пока жена тут похозяйничает, — пойдёмте, кедровые шишки постоим.

В безветрии, разогретые солнцем, кедровые шишки источали аромат. На стволах местами выступили прозрачные капли смолы.

— Хороши? — спросил Иван Трофимович.

— Хороши!

— А ведь погибали. Сохли, хвоя сыпалась. Так жалко! Привез лесничего. Он посоветовал удобрить навозом. Как видите, помогло. Сразу оправились. Теперь — каждую весну окопаю, навоза не жалею.

Так захотелось взять на память по маленькой «лапочке» с шишкой. Иван Трофимович тотчас докричался сына-подростка, распорядился:

— Слезай, сорви.

До сих пор лежит у меня в коробке та «лапочка». Осыпалась хвоя. Шишка из зеленой превратилась в коричневую, сморщилась. Все равно — берегу.

Из тех двух кедров, что были возле дома, уцелел один.

— Второй уже при нас бурей сломало. Вся середина у него выгнила. Вот смотрите. — Словно извиняясь, что вот — не уберег, Иван Трофимович подвел нас к пню.

И тут, от пня, я увидела тот плоский светло-серый, почти белый камень, с которого один шаг — и ты на крыльце. Вот она, неглубокая выемка, протертая нашими ногами. Ступила в эту выемку. И . . .

С чего он начал рушиться, наш дом?

Наверное, с того серьезного, невеселого разговора, который взрослые, вопреки обыкновению, сочли возможным вести при детях.

Ранним утром приехали из Витебска сразу все — отец с Володей, тетя Женя с Алей и Наташей. Сидели, завтракали. И мама вдруг сказала:

— Надо уезжать. Невозможно больше так — на три дома.

В самом деле, отец с Володей давно уже в Москве. Еще не потеряны надежды вернуть Володе здоровье. Аля не первый год живет у тети Жени под Москвой, в Царицыне. Где ей здесь учиться? В школе — четыре класса. Семилетка — в Будниках или в Бешенковичах. За восемь верст. Мыслимо ли ходить туда каждый день? Мы — мама, бабушка, я, Коля совсем маленький — в Соломинке.

К тому же маму всю зиму то и дело «схватывало» — лежала, вся белая от боли, с грелкой на животе. Старая врачебная этика запрещала отцу лечить своих — теряешь меру объективности. Но тут, сразу по приезде, он турнул нас всех из дому, осмотрел маму. Диагноз — смещение почки. Впоследствии, в Москве, он подтвердился. И — запрет:

— Лиза, помни: ничего тяжелого тебе нельзя поднимать. Ни в коем случае!

Легко сказать: не поднимать! Ну, летом — ладно. Летом дом всегда полон. Есть кому помочь. А осенью, зимой? Кто подымет квашню с тестом в тепло, на печь? Хлеб мама пекла сама — больше его взять было неоткуда. Кто поставит в печь тяжеленные чугуны с мелкой картошкой для поросенка? И — десятки других тяжелых, не женских работ.

— Маруся в четвертый перешла, — продолжала мама начатый разговор. — Ну, год еще. И что дальше?

— Марылю я тоже могу взять к себе! — Нас с тетей Женей роднила любовь к коням. — Даже и этой осенью пусть едет.

— Маруся — помощница. Одного сена каждый день сколько надо! Она возит на санках. Сугробы — под стреху. Понимаешь ли ты, Женя, каково это? . . .

Да, в метельные или послеметельные дни возить из пуня сено — адский труд. С пустыми-то санками к пуню пробиться по нетронутой снежной

целине и то семь потов сойдет. Прежде, чем открыть ворота пуни — что там открыть! — щелку сделать — надо их откопать деревянной лопатой. А обратный путь с грузом сена . . . Так — несколько раз подряд, чтоб сделать запас на день. Мама права: каково это?

Воды наносить — тоже моя обязанность. Дрова с мамой вдвоем пилили. Не говоря уже, что Коля — на моем попечении.

— Нет, без Маруси — полный зарез.

Они, взрослые, не спорили. Они думали вслух. Главная препона к воссоединению семьи: где жить?

В Москве умерла недавно тетя Шура, еще одна сестра отца, мать Димы и Аркадия. Каким-то образом отец надеялся, что удастся получить тети-Шурину комнату. Когда — неизвестно. Да и удастся ли получить? Деловой хваткой отец не обладал.

После долгого обсуждения всех «за» и «против» решено было: год еще нам прожить в деревне, пока я закончу школу. И — уезжать. Куда — там видно будет. Но — уезжать.

Знали бы они, взрослые, на каком пороге мы все стоим: шло лето года 1929-го . . .

* * *

Осенью того же года началась коллективизация. То и дело — сходы. Все они были похожи один на другой.

Сход деревенский — в школе. Единственное место, где был «зал». Из него, в общем-то, и состояла школа. Большая комната. В ней в четыре ряда — длинные парты. Ряд изображал из себя класс или, как его тогда называли, группу. Сидели мы в полном смысле слова плечом к плечу. Ведь кроме слободских ходили в школу дети из соседних деревень. Группы первую и вторую учила Александра Михайловна Михайловская. Третью и четвертую — Тимофей Иванович Ворохопка.

Вот в школе и проходили собрания. Днем — осветить такой «зал» было нечем. И мы учились только в дневное время.

Учительские столы — два — сдвинуты вместе, накрыты куском кумача. Это — стол президиума. За ним садились прибывший из Бешенковичей уполномоченный и наши учителя.

Уполномоченный произнесил речь, агитировал вступать в колхоз. Затем, по заранее заготовленному списку, вызывал хозяев, задавал один и тот же вопрос:

— Ты пойдешь у калгас (колхоз)?

Наверное, в любой деревне той поры была семья, которую все презирали. Не за бедность — полунищих в нашей Слободке хватало. За лень их презирали.

В нашей деревне это была Тяпчиха — мать той самой Проньки, которая попала нам в деревне первой. Кроме Проньки был у Тяпчихи сын — Максим. Взрослый парень. Жила Тяпчиха в нашем конце деревни, в добротной, еще не потемневшей от времени хате. Земельный надел имела такой же, как все. От комитета бедноты получила рыженскую бойкую кобылку. Казалось бы, жить да жить.

Но надел свой Тяпчиха, баба крупная, здоровая, не обрабатывала. Сдавала в аренду. Нашим же, слободским. Сахонятам. Но о них — ниже.

До чего жалела я Тяпчихину кобыленку! Круглый год слонялась она беспривязно. За лето отъедалась, становилась гладкой. Зимой, подобно дикому зверю, обрастала длинной косматой шерстью, под которой все равно видны были неправдоподобные ребра. Бродила, подбирала на дороге оброненные клочки соломы и сена.

Пуни у всех в деревне далеко от домов, от хлевов — так безопаснее в случае пожара. Для переноски сена и соломы в каждой хате были розвины. Две соединенные между собой деревянные дуги, оплетенные редкой веревочной сеткой. Набитые розвины затягивались веревкой, дуги соединялись. В таком виде розвины — на спину. Или — на санки. В любом случае сено трусилось. Тяпчихина кобыленка его подбирала до последней былинки. Заедала снегом — поить ее неудачные хозяева считали излишним.

Какой крестьянин не любит, не жалеет скотину? Лошадь-кормилицу — в особенности. Кидали «нищенке» кто сенца, кто соломки. С проклятьями в адрес Максима, прозванного Ялемпой.

— Во, каб ты сох, такой хозяин! Як на вечарынку — тут ен перший! Сена кобыле накосить — хворый.

С год, что ли, побиралась кобыленка. Потом — продали. Деньги проели. А может, и прогулял Ялемпа — выпить был не дурак.

И вот такую картину еще помню. Баню, что ли, собиралась топить Тяпчиха. Таскать воду на коромысле Ялемпе было лень. Поставил на санки бочку. Санки привязал к коровьему хвосту. Мы, ребятня, как раз катались на санках. Ялемпу с его «упряжкой» обсмеяли. Но и любопытно было: что дальше?

Дальше Ялемпа налил бочку до краев. Дал корове палкой по ребрам. Коровя рванулась и . . . хвост оборвался! . . .

Таков вот был «хозяин» этот Ялемпа. Он и записался в колхоз первым. И — любой, хоть сколько-нибудь имущий хозяин, кипел:

— Что я, чтоб дети мои на Ялемпу горб гнули? Не, то́го ня будеть!

И вот — очередная сходка:

— Ермак Степан! — выкликнул уполномоченный.

— Я! — Степан вскочил.

— Ти пойдеш у калгас?

— Не.

— Распишись!

— Пож-жалуйста! — Лихо подскочил к столу, лихо, с росчерком, расписался.

Ермак Степан — муж Христиньи. Бедняк. Отец его, Банадысь, хозяин крепкий. Христинья — из бедной вдовьей семьи. Работящая девка, но . . . Банадысь был против этой женитьбы. Степан настоял на своем, женился. Банадысь тут же выделил его: на тебе старую хату, на тебе корову самую плохую, лошадь самую слабую, землю — самую песчаную. Работали Степан с Христиньей не покладая рук. Всегда были веселы. Наверное, взаимная любовь согревала. Двоих детей родили. На четверых с малой толики худой земли — на пропитание еле хватало. К тому же сушила Степана чахотка — не редкий гость в наших болотистых местах.

— Если уж Степан в колхоз не хочет — нам сам бог велел!

Сегодня я думаю: все в деревне понимали, что, рано или поздно, их в колхоз заговят. Никак иначе не могу объяснить ту в буквальном смысле слова панику, что однажды зимой — снег уже лег — охватила деревню.

Земля и скот — две надежды белорусского крестьянина. Его, если угодно, любовь. Принесла корова телочку — ее будут холить и лелеять. Бычка зарежут, да. Телочку — ни в коем случае. Тут — начали резать без разбору: чем в колхоз сдавать — лучше сами съедим!

Мясной дух стоял над деревней: жарили, парили в каждой хате. Наверное, никогда, вплоть до дня сегодняшнего, не ели слобожане столько мяса . . .

Не обошла паника и наш дом. Мама пыталась продать одну из коров. Но кому они тогда были нужны?

Помню зимний базар в Бешенковичах. Плотно уставлена подводами площадь. К саням привязаны коровы, телки, на санях — связанные овцы, подвинки. Одни продающие. Нет покупателей.

Мама безнадежно махнула рукой:

— Нечего и пытаться!

Чтоб зарезать одну из коров, — об этом мама и помыслить не могла. Обе — «своей годóвли», от рождения окруженные любовью. Те же члены семьи.

— А, как будет, так и будет!

А сходы все чаще, чаще. От одного до другого Ялемпа оставался колхозником единственным. И однажды уполномоченный с угрозой произнес:

— Кулацкая работа!

В деревне нашей — сорок дворов. Кулаков и в помине не было. Наделы у всех одинаковые, небольшие — 7—8 десятин. Земля бедная, песчаная. Да и дробились наделы, как вот у Банадыся со Степаном. Конечно, одни хозяева были покрепче. Те, у кого дети подросли, стали помощниками. Как мог выбиться из нужды тот же погибавший от чахотки Степан, или Маркел с его оравой детей — мал мала меньше?

Лучше всех жили в Слободке сахонята — пять сыновей деда Сахона. К тому времени, когда стали наделять землей, все они уже были женаты. Все — со своей землей. Все — работящие. И всех дед Сахон до седых волос держал в своем сухом, но крепком кулаке. Младший его, Хведор, смог жениться на батрачке из соседней деревни Катерине, у которой послал от него дочка Паланея, лишь после смерти Сахона. И было тогда Паланее, кажется, лет пятнадцать.

Так если подумать: вот сахонята и образовали в Слободке первый кооператив. Что навоз возить, что пахать, молотить, — они все делали своей «толокой». И — процветали.

Но в деревне их не любили. Кличку сахонята имели: «вауки» (волки). Станет чья-то семья пухнуть по весне с голоду — иди к деду Сахону. Стой в лаптях у порога, шапчонку в руках тискай.

— Как бы хлеба разжиться, дед Сахон . . . Оголодали . . .

— Иди к Гавриле — дасть. Пахать станем — отробишь.

Или:

— Иди к Давыду. Обмолотишься — за пуд два отдашь.

Пала перед самой весной у Макреды, Христиныной матери, лошадь. Дед Сахон сам пришел, предложил как помощь, как спасение:

— Так и быть, выручу. Возьму твой надел в аренду. На тыи деньги купи, Макреда, коня. Год — что делать? — перебеешься с мальбими на бульбе.

Потом — пал у Платона, старшего из сахонят, серый жеребец-красавец. Голосили по нем, как по покойнику. Но по миру Платонова семья не пошла. Скинулись сахонята. В ближайшее воскресенье поехали Сахон с Платоном в Бешенковичи, на базар. Привели коня, хоть и небольшого, но справного.

Не из зависти, не по злобё появилась эта кличка — «вауки». Чуть оплошай кто-то — «вауки» всей стаей навалятся, обдерут.

Вот они, в каком-то приближении, и были в Слободке кулаками. Но их не раскулачили. Они дружили с учителями, никогда не вскопавшими по весне ни единой грядки. Сахонята открыто несли в школу, где учителя и

жили, и молоко, и сало с колбасами, когда забили свинью, и бульбу — возом, и огурцы, яблоки — в бабьих передниках.

А за учителями последнее слово: кто есть кто в Слободке?

Первым раскулачили Наумёнка. Слыл он в округе «колдуном». Теперь бы его назвали травником. Случись кому заболеть — бежали к Науменку. Он давал сушеные травы, советы: как заварить, как поить больного.

Отец дружил с Науменком. Сидели, бывало, часами и весь разговор — о лечении травами. Знания свои Науменок в секрете не держал.

У Науменка — три дочери. Взрослые. Красивые. С тонкими, нежными чертами лица. Потенциальных женихов мудрый Науменок предупреждал сразу:

— Знай: отделять не буду. Думаешь жениться на Аудакее — вóзьдем у примаки. — Пояснял: — Порвем надел на куски — усе пойдем у старцы.

Хату молодым пристраивал под одну крышу со старой. Но за стол всем домом садились вместе.

К моменту коллективизации все дочери Науменка были замужем, имели детей. Четыре мужика на одном наделе — сила! В семье пара добрых коней, коров штуки три, овец — полный закут. В три, в четыре косы на ничейных, никчемных болотах — почему не накосить сена скотине на зиму?

Крепкое было хозяйство. Науменок в беде выручал соседей. Не драл за это, как «вауки», три шкуры.

Науменок первым получил индивидуальный налог — слобожане тот налог прозвали «обдувальным». Такой это был налог, что, продай Науменок скотину, хату, постройки, собранный осенью урожай, тряпки последние, — все равно бы не расплатился. Это в деревне понимали все.

И — не расплатился. Вывезли всю огромную семью в Сибирь. Как это было — не знаю, не видела. Мама не пустила. Хотя сама пошла попрощаться.

Как голосили возле Науменковой хаты, — это я с содроганием вспоминаю и сейчас . . .

Кто следующий? Сахонята? Ни в коем разе. Наученные горьким опытом Науменка, они все сразу записались в колхоз.

А дальше?

— Ермак Степан. Ти пойдешь? . .

— Не.

— Гляди, подкулачник!

— Подкулачник? Ха-ха! Хади, глянь, што ёсь у того подкулачника, ха-ха!

— Красавицкая Лизавета. Ти пойдешь? . .

— Но я же в прошлый раз говорила: осенью мы уезжаем . . .

— Эт-то мы еще поглядим: куды поедете? Данилевич Юлия. Ти пойдешь? . .

Данилевич Юлия — тетка Ксены. Всю жизнь — сельская учительница. В Слободке жила только летом. А на постоянное жительство пригнало ее горе: остались две беспомощные сестры. Одна — умиравшая от хохотки тетя Варя. Вторая — сумасшедшая Франя, Ксенина мать.

— Какая из меня колхозница, сами посудите! . .

— Гляди, Данилевич Юлия, гляди! . .

Так — до самой весны. У отца дело с тети-Шуриной комнатой все еще тянулось, не решалось. Мама советовалась с тетей Юлей:

— Как быть? Лето, конечно, придется прожить здесь. Значит, все же надо что-то посадить в огороде.

Рожь озимую, зная, что осенью непременно уедем, не сеяли. Какой-то кусок под картошку и овощи мы с мамой вскопали лопатами, посадили, посеяли.

И вот тут-то нашлись в деревне очередные кулаки: Красавицкая Лизавета, Данилевич Юлия. «Обдувальный» прислали такой же, как Науменку: все продай — не выплатишь. Раз за разом маму с тетей Юлей грозными повестками вызывали в Бешенковичи: «Плати налог!»

С чего им было платить? . .

Лето уже наступило, — Аля приехала на каникулы, — когда верхом на сытом вороном коне прискакал из Бешенковичей милиционер.

— Красавицкая Лизавета? Собирайся. Смену белья возьми. Хлеба, сала . . . коли ёсь . . .

Нет, мама не плакала, собираясь. Окаменела. Я вот так же каменею от горя. Это, наверно, куда труднее, чем выть в голос.

Мама впереди, со своим жалким узелком, завязанным в белый платок. За нею — милиционер верхом на лоснящемся коне. Мы — Аля с Колей на руках и я — сзади. Дошли до ворот. Милиционер приказал маме:

— Прощайся с детьми!

И тут мама не заплакала. По очереди перекрестила нас, поцеловала. Помный, губы у нее в тот солнечный теплый день были совсем ледяные.

Давыдовы все из хаты высыпали, Панковы. Стояли, молчали. Ялемпа сбежал с горы. Крикнул громко, весело:

— Во, кулачку погнали!

— М-молчи ты, с-сукин кот! — цыкнул Панок.

Мы стояли, смотрели вслед маме. Она не оглянулась. Ни разу. От школы сошла на дорогу тетя Юлия — с узелком в руках. Значит, и ее — тоже . . .

Скрылись они за поворотом улицы. Панок сказал задумчиво, словно сам себе:

— Во як . . . Кулакоу знайшли! Зямли той у их — кот наплакау. Ни коня, ни мужика . . . Коли их . . . Не, надо писаться у калгас.

— А я тебе што кажу кажный день? — отозвался Давыд. — Можя, мне хотелось? Али ж . . . — Вздохнул. — Сила солому ломить . . .

Наверное, такие же разговоры — в каждой хате. В один день все оставшиеся одиноличники записались в колхоз.

* * *

Остались мы: совершенно к тому времени ослепшая бабушка, Аля — четырнадцать лет, я — десять, Коля — два года.

Коров у нас забрали в колхозный хлев в тот же день. Переловили кур. Они с кудахтаньем носились по кустам. «Ловцы» за ними — с проклятьями. Впрочем, две курицы к вечеру вернулись — сумели спрятаться. Порошенка у нас не было — или не успела мама купить или не на что было.

На следующий день Аля пошла в Бешенковичи — узнать хоть что-нибудь о маме, отправить телеграммы о случившемся отцу и Ксене в Витебск. Беспомощные тетя Варя и тетя Франя остались совсем без присмотра.

А к нам нагрянула «комиссия» — описывать имущество, подлежащее конфискации в счет «обдувального» налога. В составе ее были наши учителя и только что избранный председателем колхоза Маркел. Человек честный, добрый, он как примерз к притолке двери. Глаз от полу не отрывал. Обыск вел учитель Ворохопка.

Рослый, красивый, молодой, он мог бы быть в школе учителем любимым. А мы дружно его терпеть не могли — за холодные, бесцветные, поистине рыбы глаза. Он и кличку имел именно такую: «Рыбий глаз».

По-хозяйски расхаживал он по дому, выгребал наши пожитки. Брезгливо скривив красивые яркие губы, перетряхивал. Большую часть швырял в кучу, на пол. Кое-что, получше, клал на стол, за которым расположилась ведущая опись Михайловская.

— Это — запиши!

Мы с Колей забились к бабушке на кровать. Она обняла нас, прижала к себе.

В любой деревенской хате была в те времена скрыня — сундук. Как правило, красивый, с резьбой и узорчатыми железными полосами. Скрыня — хранилище главного добра: тугие рулоны льняного полотна, изукрашенные розанами полушалки, наряды девок и молодых, домотканые пастилки.

Была скрыня и у нас. Что в ней хранилось? Отцовский огромный тулуп, в котором зимой ездил он к больным в дальние деревни. Пересыпанные нафталином и махоркой зимние пальтишки, валенки, не раз уже подшитые и залатанные. Справить новые — целое событие: овец мы никогда не держали.

Перетряхнув и расшвыряв по полу содержимое скрыни, Ворохопка пришел в страшный гнев.

— Куды сховали добро? — заорал он на бабушку.

Она от этого крика вздрогнула.

— Лучше скажи сама, старая ведьма! Все одно — найдем!

— Ты ты не знаешь, что я слепая? — Бабушка в иные моменты умела осадить любого. Это и был такой момент. Бабушка, казалось, гордилась своей слепотой. — Спытай кого другого!

Он принял совет буквально. Откровенной насмешки в нем не уловил. Думаю: по необыкновенной своей тупости. Схватил меня за шиворот, потрянул с силой:

— Куда сховали добро? Говори, кулацкое отродье!

Я заревела. Дико заорал Коля. Бабушка крепче прижала меня к себе.

— Тихо, дети, тихо! — И — Ворохопке: — Гярой знайшоуся! С детьми малыми, со слепой старухой . . . Но — нет! Ни слезы нашей не увидишь! Сяди моучки (молча), Маруся!

И — я помню это четко — страха во мне не стало. Раз бабушка не боится, отвечает ему смело, — чего мне бояться?

А учитель, нарочито громко топая хромовыми высокими сапогами, перешел к шкафу. Не много он там нашел ценного! На стол бросил лишь единственное мамино «выходное» платье — темно-синее, с белым кружевным воротничком. Она всю жизнь любила такие . . .

На очереди — старый, изъеденный древоточцем комод. Маму всегда отличала аккуратность. Простыни, наволочки, полотенца, пусть старенькие, залатанные, — с тех пор, как уехали отец с Володи, ни одной новой вещи не куплено, — наглаженные, с четкими складками, лежали в стопках. Все — на пол, в кучу. Под ноги. Под до блеска начищенные сапоги.

В верхнем ящике комода, в числе прочих мелочей, стояла и когда-то подаренная мне бабушкой небольшая шкатулка, кирпично-красная, лакированная, украшенная цветами. В ней — мои «драгоценности». Дешевенькие бусы, огрызки цветных карандашей, корбочка с красками, кисточки. И — главная, любимейшая моя «драгоценность»: красный сафьяновый кошелек с замочком в виде двух блестящих шариков. Тоже бабушкин подарок.

Ворохопка покрутил, повертел кошелек. Раскрыл. В нем, чтоб «водились деньги», лежал серебряный гривенник. Замочек звучно защелкнулся. От этого неожиданного звука бабушка опять вздрогнула. А Ворохопка . . . положил кошелек в карман собственных, по тогдашней моде, «тихоокеанских» галифе.

Вот так у ч и т е л ь дал мне в десять лет познать, что такое презрение. Я тотчас вспомнила слова Анюты-Давыдихи: «Хто лжет, той и крадеть!»

А он продолжал рыться в комоде. И я злорадно подумала: «Ройся, ройся! Много ты там найдешь!»

Главную нашу ценность — швейную машину-кормилицу — мама сразу же, как пришло извещение на «обдувальный», попросила Кандраша спрятать у себя. Ночью, перейдя речку вброд, пробравшись за деревянной задомы, Кандраш в своей пуне зарыл ее в солому. Это я, конечно, узнала много позже.

Обручальное кольцо мама успела снять с пальца, сунуть Але в руку, когда прощалась. Его и мамыны давно испортившиеся часики-медальон Аля, приказав мне настрого за нею не шляться, сразу же закопала где-то в парке.

Была у нас еще одна ценность — отцовская библиотека. С самого раннего детства все мы были приучены любить книги, беречь их. Никого из нас отец никогда пальцем не тронул. Но заметив неаккуратное обращение с книгой, кричал высоким срывающимся голосом, что в детях своих варварства не потерпит.

Надо полагать, что с точки зрения Ворохопки книги никакой ценности не представляли. Когда пригнали подводы, чтоб увести конфискованное имущество, я с ужасом смотрела, как швыряли книги в телегу беспорядочными грудями. Как мне было их жаль!

Отбыла наконец-то «комиссия» из дома. Вот тогда я сказала бабушке: — А Ворохопка украл мой кошелек!

Картина эта: большая, холеная, н е р а б о ч а я рука с зажатым в ней кошельком скользнула в карман галифе — и сейчас жива в моей памяти.

— Вор и хопка. — Так разделила бабушка фамилию учителя. Поистине: велик и могуч родной язык! — Бог с ним, с кошельком. Краденое добро впрок не пойдет. А ты, Марочка, — так называла она меня в самые нежные минуты, — собери то, что они раскидали.

Ничего бабушка не видела, а вот как Ворохопка кидал на пол вещи — слышала.

Одной из первых попала мне в руки мамина штопаная-перештопанная кофточка, сшитая из тонкой шерсти. Чередовались на ней клеточки — красные, черные, зеленые. Мама в ней бывала такая красивая! . .

Я уткнулась лицом в кофточку. От нее пахло м а м о й. И я дала реву.

Конечно, и Коля взвыл тут же. Покатились слезы из незрячих бабушкиных глаз . . .

* * *

К вечеру вернулась из Бешенковичей Аля. Маму ей повидать не удалось. Передачу — приняли. Сказали, чтоб следующую несла только через неделю, не раньше.

В детстве мы не дружили с сестрой. Очевидно, стояла между нами мамина постоянная фраза-упрек: «Вот Аля . . . А ты?!.» По неистребимой любви к коням я водилась с мальчишками. Словечки от них подхватывала. Да и вообще была «не подарочек». За что и колотила меня сестра, если, впрочем, могла догнать.

Теперь, когда все мы осиротели, я ходила за Алей хвостом. За мной — тоже хвостом — Коля.

Кое-как мы привели в порядок развороченный дом. Сделали «ревизию» оставшихся продуктов.

Муку увезли до последней горсточки. Соленое сало, вместе с кадушкой, — всё. Остались нам на пропитание: проросшая картошка в темном углу кухни; немного крупы и гороха; в глиняном горшке — насквозь просоленные свиные ребрышки . . .

Вот пытаюсь сейчас поставить себя на место Али, понять ее, четырнадцатилетнюю, оставшуюся главой семьи, — и не могу.

Помню ее отрывистые команды:

— Марья, набери хворосту!

Какую прорву хворосту пожирала печь! Надо было не только сварить жалкую нашу еду, но и нагреть печь как следует, чтоб еда эта весь день стояла горячей.

— Марья, набери щавеля!

— Марья, принеси воды!

А стирка! Без кусочка мыла — весь запас его у нас «экспроприировали». Со щелоком, приготовленным из золы. Четырнадцатилетняя девочка, тощая, худущая, слабыми своими руками обстирывала четверых.

— Марья, воды из речки! Еще — воды! — Или: — Пошли полоскать. Бери вот эту корзину.

Какое оно, оказывается, тяжелое — мокрое белье!

Но даже не полуголодная жизнь, не бытовые неурядицы, — не это оказалось самым тяжким.

. . . По старой своей привычке я ухитрилась-таки цыгнуть. К Зине Давыдовой. Не успела войти во двор — Давыд вышел мне навстречу из хаты. Следом — Анюта-Давыдиha.

— Давыд, не надо! — умоляла она. — Малая же! Не надо!

— Надо! — огрызнулся он. И — мне, не глядя в глаза: — Не ходи больше к нам, Маруся. А то и нам . . . — Он помедлил. Закончил упавшим голосом: — А то и нам дренно будет. — С тем — подтолкнул меня к воротам.

Я обревелась, пока дошла до дому. Аля, добившись от меня толку, сказала жестко:

— И очень хорошо. Не будешь шляться. Ни к кому!

Она раньше меня наткнулась на это. Ходила в деревню за молоком для Коли. Пришла с пустыми руками.

Словно заразная болезнь поразила наш хутор. Мы — никуда пойти не смели. И к нам никто зайти не осмеливался.

— И пусть, пусть! — с ожесточением говорила Аля. — Обойдемся!

* * *

Но: свет не без добрых людей. Это — правда.

Ночью прокралась к нам Кандрашиha. Принесла крыночку молока — с поллитра, не больше. Своя семья большая.

Аля разбудила меня:

— Пойди с Кандрашихой. Покажет, где будет оставлять Коле молоко.

Конечно же, деревней мы не пошли. Даже лугом — не осмелились. С высокого противоположного берега луг — как на ладони. Прокрались кустами до речки. Вброд через нее, по пояс в воде. Задами — к кустам возле Кандрашова огорода.

— Вот тут, в этом кусте. Можя, не каждый день, но оставлю. Ночью, только ночью сюда ходи, Маруся.

Путь этот, в темноте, в страхе, насквозь мокрая, проделывала я ежедневно. Иногда находила на крынке и кусок хлеба. Иногда — ничего.

Потом сошлась я у нашей криницы с Христиньей. Вот что она мне сказала:

— Отнесешь воду — сразу же сюда опять придешь. С ведерком. Я тоже приду. Жди.

Сошлись вскоре снова. Бесстрашно — из окон школы видно криницу! — Христинья перелила малую толику молока из своего ведра в мое.

— Завтра придешь тоже. Отвечерком, когда скот пригонят. — Гордо вскинула голову. — Степан сказал: неси! Чтоб мы теперь вужак (змея) этих боялись?! — Исполненный презрения жест в сторону школы. — Ходюте из хаты у хату, пужають: «Жаб вы с энтими кулацкими детьми не зналися! А то глядятся...»

Не часто гоняли в то лето скот на пастбище в нашу сторону. Если гоняли — коровы наши прибегали домой. Даже если закрыл пастух ворота — Красуля лучше Жорки умела с ними справиться. Подденет рогами за перекладину, трясет до тех пор, пока кольцо не соскочит с кола. Тогда — мордой отпихнет ворота. И — домой, домой!

Вряд ли, впрочем, пастух закрывал ворота. И уж никак не могло быть, чтоб он не видел: убежали коровы. Он не гнался за ними, нет.

Аля хватала доёнку, выдаивала обеих дочиста. Тут-то и приходил пастух.

— Коровы опять прибегли?

— Опять.

— Ах, так их и растак! — Выгонял.

Мог он не видеть, что коровы подоены? Не мог. Но — слова единого никогда не сказал. Покрывали Алино «воровство» и доярки.

В такие дни был у нас праздник!

Но — подошла к концу картошка. Зато на том клочке, что засадили мы с мамой розовой продолговатой картошкой-скороспелкой, появились над бороздами первые цветы. Значит, что-то в земле уже завязалось.

Как на зло, клочок этот на горке. Смотрят на него деревенские окна. Значит, накопать, вернее осторожно подкопать, чтоб не привяли, не выдали нас кусты, можно только ночью. Что мы с Алей и делали, замирая от страха. Своими руками посаженное — воровать! Как это было унижительно. А что делать: голод подступил к нам вплотную.

С некоторых пор и я сделалась добытчиком. Обыкновенную вилку — в руку. На пояс — торбочку. И — на речку. На мелководье тыкались носом в водоросли, в камешки пескари. Рыбка длиной в десяток сантиметров. К ней надо подкрасться так, чтоб вода не плеснула, чтоб тень моя на пескарিকা не упала. Тогда — резкий взмах вилкой. И — есть добыча! Или — промах, нету. В особо удачные дни Аля варила уху, из пескарей для всех. Не было удачи — какая-никакая ушица выходила только для Коли.

Две наши курицы неслись хорошо. Но лишь в те дни, когда не было ни молока, ни пескарей. Аля варила Коле яичко. Остальные — копила для мамы. Отваренная бульба да яйца — вот все, что она могла раз в неделю отнести маме.

Однажды вернулась — все принесла назад:

— Угнали маму в Витебск.

И — не в тот ли же день приехала из Витебска Ксена? Сказала, что наш отец в Витебске. Хлопочет за маму, за тетю Юлю.

С приездом Ксены стало нам если не веселее, то смелее. Из нас она была самой старшей.

* * *

Так прожили мы лето. Стала спеть земляника — подспорье. После теплых дождей высыпали в парке маслята — еще одно подспорье.

Настали дни золотой осени. Солнечные, теплые, тихие. В один такой поистине прекрасный день пришли из Бешенковичей отец и мама.

В липовой аллее Аля увидела их первой. Как она мчалась им навстречу — давно не стриженные волосы бились по спине! Подбежала, бросилась маме на шею. Рыдала — впервые за все это тяжкое время.

А у меня словно бы отнялись ноги. Хотела бежать и — не могла. И что-то душило, зажимало мне горло. Коля дергал меня за подол:

— Кто это? Кто это? — Отца-то он, наверное, и не помнил. Маму — не узнал.

Целый мешок еды они с собой привезли. Аля выставила на стол все, что было в печи. Сели обедать — впервые за долгое время — с х л е б о м.

Отец, безмерно гордый, рассказывал, как и куда он ходил и ездил в поисках правды. В Витебске ничего не добился. Поехал в Минск. И вот: мало того, что маму освободили — и тетю Юлю тоже! — в с ё вернут, что конфисковали.

— Вернут как миленькие! Вот они, документы! — Вынул из кармана, положил на стол бумаги. Торжествуя, прихлопнул их ладонью.

— Баню, девочки, давайте затопим баню! — сказала мама. — Я такая грязная . . .

Будто ветром носило меня за хворостом, за водой на речку. Пока грелась баня, мама стала «брать власть» в свои руки.

— Маруся, накопиай картошки!

— Но, мама, увидят же . . .

— Пусть видят! Это — н а ш а картошка!

Впервые смело пошла я вдоль борозды. Как это было прекрасно: никого не бояться!

После бани пили чай из самовара. Вприкуску, с мелко наколотым сахаром, вкус которого мы давно забыли. Разговор шел о будущем.

— Все, что удастся, — продать! — решительно говорила мама. — И — уезжать! Чем скорей, тем лучше. Дня лишнего тут не хочу оставаться!

— И я! — горячо поддержала Аля: ей досталось, пожалуй, не меньше, чем маме. А может, и больше.

— Но . . . — Отцу, конечно, было жалко бросать дом, этот уголок-дендрарий, созданный с любовью на честные трудовые деньги. — Летом мы могли бы приезжать . . .

— Никогда! — Маму всегда отличала сдержанность. Тут — не сдержалась, буквально закричала: — Ноги моей больше здесь не будет! Никог-да!

Они не доспорили. Домой из Бешенковичей прошли деревней. Гордо, наверно, прошли. Деревня знала: вернулись с победой. Есть, слава богу, правда на земле!

Нам тактично дали побыть своей семьей. И — началось. Бабы обнимались с мамой. Голосили с причитаньями. Отголосив, пытались сунуть маме что-нибудь съестное.

Подношения эти мама поначалу отвергла. Кивнула на нас:

— Вот им надо было . . . Теперь — ничего нам не надо!

— Дык, Лизавета Хведоровна, миленькая . . . Дык боялись же . . . Вужаки энти . . . — И — подробности: как запугивали их, темных, неграмотных, учителя.

Конечно, мама понимала: приношения эти — от души. Посопротивлялась и, чтоб не сеять обиды, приняла.

— Вот и добра! Вот и спасибочки, Лизавета Хведоровна!

С трудом, опираясь на палку, приплелся Степан. Мы, отсидев на своем хуторе все лето как арестанты, давно его не видели. Я с трудом узнала Степана в этом обтянутом сухой кожей скелете.

Первое, что сделал отец: повел его в комнату, извлек из кармана черную эбонитовую трубочку с раструбами на концах, выслушал Степановы легкие.

Как всякий настоящий доктор, отец умел играть роль, чтоб больной не понял истинного своего положения. Он и теперь хорохорился, беззаботно хлопал Степана по костям, бывшим когда-то, не так уж и давно, могучим плечом, внушал:

— Недурно, Степан! Честное слово, недурно. Ничего такого . . . опасного. А что похудел — ерунда. Есть нечего было, вот и похудел. Теперь — урожай сняли . . . Молочка пей побольше. Сало ешь. Эх, нет Науменка! Он бы тебя за месяц травами вылечил.

Отец, конечно, в свои слова не верил. И Степан не поверил им тоже.

— Спасибо, докторку. Я не за тем пришел. Повидаться пришел.

— Вот и хорошо, Степан. Спасибо вам с Христиньей за молочко. Последним делились, понимаю, ценю.

Потом, уже в сумерках, Маркел, председатель колхоза, самолично пригнал коров. Длинный, нескладный, виновато лепетал:

— Я говорил . . . Якие ж, о господи, кулаки! Хаты такой нема, чтоб добра от вас не видела . . . Али: хто меня слухал? — И — жест большим пальцем в потолок.

Вона в какие временные дали уходит он, этот классический жест, доживший благополучно и до дня сегодняшнего!

— Ладно, Маркел, бог простит. Сядем, поговорим о деле. Аля, чайку бы нам свеженького!

— Люди кажут: уедете, не останетесь? — осторожно начал Маркел. И — со слабой тенью надежды: — Можа, брешуть?

— Не, ня брешуть.

— Жалко. — Маркел искренне огорчился. — Можа, обдумаетесь? Лизавета бы Хведоровна — у школу. А то вужаки энти . . . — До дня их в деревне последнего только так и называли учителей.

— Нет, нет, Маркел. Распродадим, что сможем, и уедем.

— Конечно, обида . . .

— Не в том дело, Маркел. Сам посуди: семья давно на куски порвана. Как-то надо собираться до кучи. Словом, дело решенное.

— Тогда . . . Коровки ваши дужа хорошие. Можа, продадите колхозу?

— Нет! — жестко сказала мама. — На издевательства — нет!

Коров мы успели осмотреть и обласкать. Пастбищный сезон еще не кончился, а они такие худые! Грязные — все бока в засохших нашлапках навоза. Никогда они у нас такими не были!

— Что правда, то правда. — Маркел спорить не стал. — Хлев дрэнный. Соломы на подстилку нема — на корм бережем. Ну, так, можа, дом продадите? Под контору колхозную?

— И дом не продадим. Летом приезжать будем.

— Насчет дома . . . — осторожно начала мама. — Подумаем.

Она не закончила. Отец метнул на нее взгляд поистине бешеный. Маркел этот взгляд перехватил. Как и мама, счел за благо не настаивать.

— Тогда, можа, пуню?

— Пуню — да. Хоть сейчас можем сговориться. Теперь: когда привезут наши вещи?

— Завтра. Утречком.

— Курей не забудьте. Сколько курей было, Аля?

Аля мигом ответила.

— Курей в колхоз не брали, — сказал Маркел.

— Как, то есть? Куда же они делись?

— Энти . . . вужаки . . . поели . . .

Как тут снова не вспомнить: «Хто лжать, той и крадеть»? Замечу попутно, что кошелек мой Ворохопка не вернул, нет.

Как ни торопила мама: «Уезжать, уезжать скорей!», но отъезд наш затянулся. Пошли дожди, дороги развезло. А ехать предстояло до ближайшей станции Шумилино — верст тридцать, если не больше. Целым обозом — только под отцовскую библиотеку не одна подвода понадобится. Словом, надо было ждать санной дороги.

Трахим «Безносый», старинный отцовский приятель, стал председателем колхоза в Осиновке. И поскольку всем в округе известно, что уж Трахим-то — хозяин! — в Осиновку мама коров продать согласилась. Оговорив, что заберут их перед самым нашим отъездом.

Трахим, Трахим! . . До сих пор бытует у нас, Красавицких, анекдот под названием «Пигулки». Нестати он вспомнился. Но — вспомнился.

* * *

Как-то погожим летним днем прикатил к нам Трахим на своем лихом конике. Характером коник удался не в хозяина-весельчака. Был такой злой, что даже я лезть к нему не отваживалась.

Кажется, надо объяснить смысл прозвища «Безносый». В грешной своей молодости, в годы первой мировой войны, в солдатах, Трахим подхватил сифилис. От него и провалился нос. Судя по тому, что отец в доме своем принимал Трахима со всяческим радушием, заразным Трахим уже не был.

Итак, прикатил Трахим, пожаловался:

— Хварею, Петра Матвеевич!

Хвороба главная — запор. Такой, стало быть, невыносимый, что даже многотерпеливому белорусскому мужику понадобилась медицинская помощь. К тому же и скулка — фурункул — на шее такая, что «головой ворочаю, як тая свиння».

Фурункул отец тотчас вскрыл, вычистил, залепил рану пластырем. Отмотал пластыря и дал Трахиму, чтоб завтра жена сделала перевязку. Для лечения второй и главной хворобы выданы были Трахиму слабительные пилюли и бутылка с мыльным раствором — для клизмы. Поскольку Трахим, во-первых, еще с сифилисных времен клизму имел дома; во-вторых, «пущать докторку к сабе у сраку» наотрез отказался.

Отец заставил Трахима повторить, как он воспользуется полученными медикаментами. Трахим повторил безошибочно.

— Все правильно! — И отец довольно потер руки.

Потому он их потер, что превосходно знал своего друга. Хвороба хворобой, но чтоб Трахим . . .

Отец не ошибся. Трахим извлек из тележки бутылку с мутной жидкостью, заткнутую свеженькой морковкой. Содержимое — самогон.

Нет, ни отец, ни Трахим пьяницами не были. Но выпить для душевного разговору — любили. О чем они там, по определению того же Трахима, «хвилосохствовали» — не знаю. Из дома вышли румяные, весьма друг другом довольные.

— Садись, Маруся! Подкатаю! — скомандовал Трахим.

Застоявшийся коник резво взял с места. Под стук копыт, под «грук» колес Трахим во всю мочь затянул песню — «свадебную» почему-то:

Поедем, сваточки, до дому!
Поели коники солому.
Ай, кала саду — рассаду,
Ай, кала тыну — крапиву!

Запевалась эта песня при таких обстоятельствах. Приглашенные на свадьбу, практически вся деревня, после венчания самое малое сутки «отгуляли» в доме невесты. Но — пора и честь знать. Все равно в хате «усе чисто» выпито и съедено. При нормальной жизни ни один уважающий себя конь не станет есть крапиву. А тут — поели. Тоже — хозяйский довод.

После этого куплета невеста, хотя бы и шла замуж по самой распламеннейшей любви, все равно должна грохнуться перед отцом с матерью на колени и лить слезы в три ручья. Чему весьма способствовал куплет следующий:

Я ж тебе, мамынька, не дочка,
Я ж тебе, татынька, не слуга!

Пока невеста заливается слезами, «сваточки» первым долгом поднимают и тащат вон из хаты скрыню с приданым. Набитую «под замок». Поскольку «сваточки» пребывают в состоянии сильного поддатия, а скрыня тяжелая и громоздкая, то процедура ее погрузки на телегу — дело долгое.

А хор должен, не умолкая ни на мгновение, петь до той поры, пока молодуху с молоденцем не усадят в телегу, запряженную парой — лучше тройкой! — самых справных коней.

Другую песню хор грянет лишь тогда, когда и «сваточки» усядутся, когда кучер телеги с молодыми ввалит коням кнута так, чтоб рванули с места в карьер.

Словом, песни, начатой Трахимом, с лихвой хватило бы ему аж до самой Осиновки. Но, как и следовало ожидать, бутылка, заткнутая морковкой, была в тележке у Трахима не единственной. Равно как и Петра Матвеевич — не единственный друг в Слободке. Легко себе представить, каким «прибился» Трахим к дому уже ночью.

Через неделю он нанес нам новый визит. Отец первым долгом осведомился:

— Ну, як, Трахим, ти помогло тебе мое зелля?

— Ай, спасибо, докторку! Дужа добра помогло. Теи пигулки (т. е. пилюли) як стену у хате не прострелили.

— ?!

О дальнейших событиях Трахим рассказал со всей откровенностью. Вернувшись домой, он обнаружил в тележке лекарства и вспомнил: «Что-то надо съесть, что-то — у сраку, а что-то — заклеить». Убей бог, чтоб он мог вспомнить: что куда? И, поскольку жидкость в бутылке была мутная, то он решил, что докторку решил «отдариться» самогоном. Немедля на мгновения, раскупорил бутылку и, прямо из горла, вылил содержимое в глотку. Так. Что в рот — определено. Стало быть, «у сраку» — пигулки. Уж доктор, он знает — что куда. Но пигулки никак держаться не хотели: «Сыплются, мать их так!» И тут Трахим вспомнил про

пластырь. «Заклеиу, каб ня сыпались!» И — с чувством исполненного долга, взгромоздился на полати и дал храпу.

Спустя какое-то время «адская смесь» подействовала так стремительно, что «теи пигулки як стену у хате не прострелили». С тем — хворобу с Трахима как рукой сняло.

* * *

За коровами, конечно, Трахим приехал сам. В сопровождении нескольких здоровых мужиков. На двух санях-розвальнях, щедро набитых соломой. Так снарядились они потому, что после сильной оттепели ударил мороз, дорога заледенела. Доставить коров «своим ходом» было нельзя.

Никого из нас смотреть, как станут валить коров, вязать им ноги, грузить в сани, мама не пустила. И сама не пошла. Корова — тот же член семьи. А мы, дети, и с проданными телочками расставались в слезах.

Когда все мы вышли, чтоб погладить на прощанье наших любимиц, коровы лежали в санях, заботливо укрытые пастилками.

Отец остался на крыльце. Слезы катились у него из глаз, зависали на поседевшей за это лето бороде — отец всегда носил бороду.

Тронулись подводы. Красуля негромко, жалобно замычала. Зуска разразилась мычанием трубным. Всё.

Утром дня следующего уезжали мы. Ночью, как по заказу, долго шел щедрый, спокойный снег. А солнце взошло — с морозом. Все кругом сверкало и искрилось.

Бабушку, Алю, меня повез Панок. Мы должны были возглавлять обоз. Прежде чем сесть в свои сани, мама подошла, попросила Панка:

— Через деревню, Змитра, — рысью. Пожалуйста!

— Само собой, Лизавета Хведоровна! Долгие проводы — лишние слезы. — Когда мама отошла, проворчал горестно: — Слез и без того хватило!

На доброй рыси проскочили мы через деревню. От каждой хаты нам махали. Мужики снимали шапки, кланялись в пояс. Бабы голосили.

Прощай, Рабая Слободка! Прощай, Соломинка!

. . . И вот — встретились. Светло-серый, почти белый камень с протертым нашими ногами углублением. Шаг на ступеньку, и ты — в доме.

Нет дома. На его месте заросли бурьяна — этого извечного спутника старых пепелищ . . .



ПОЭТ ВЕНИАМИН АЙЗЕНШТАДТ

Впервые стихи Вениамина Айзенштадта я услышала от Арсения Тарковского

Отец мой, Михаил Айзенштадт, был всех глупей в местечке:

Он утверждал, что есть душа у волка и овечки . . . —

читал Арсений Тарковский, отбивая ритм палкой. Мы с отцом, поэтом Григорием Коринным, спросили Тарковского, чьи эти стихи. Он ответил: «Поэта Вениамина Айзенштадта, из Минска».

Мы написали поэту письмо. Он сразу откликнулся. В каждом письме он присылал нам стихи, две убористые колонки по обе стороны листа. Отец их перепечатывал, предлагал разным журналам, издательствам, — никто не желал публиковать эту «загробную мистику».

Тогда отец придумал Айзенштадту псевдоним — Вениамин Блаженных. Вот под этим-то псевдонимом просочились три стихотворения в «День Поэзии» 1982 года. В рецензии на альманах в «Огоньке» было сказано, что стихи молодого поэта из Минска заслуживают особого внимания, и объяснено, почему они такого внимания заслуживают. Насколько я помню, рецензента привлекла свежесть и непохожесть. О том, что «молодому поэту» уже за шестьдесят и что он всю жизнь писал стихи, автор статьи, разумеется, не знал.

Вениамин Михайлович рассказывал, что посылал свои стихи многим именитым, отозвалось только двое — Пастернак и Тарковский. Большинство же членов СП, видимо, выкидывали стихи в мусорный ящик, не читая, — кому нужны эти вирши, от руки!

В 1984 году мы с подругой поехали в Минск Айзенштадт с женой, Клавдией Тимофеевной, встретили нас на вокзале ранним утром — тяжелая поступь больного поэта, с ним под руку — прихрамывающая жена, инвалид войны с незаживающими ранами.

К нашему приезду было приготовлено еды на целый полк. Чтобы не обидеть хозяйку, мы ели. Потом перешли в комнату Вениамин Михайлович поставил кассету с записью стихов. Кассета кончилась, он стал читать из новых. Так продолжалось до позднего вечера . . .

К тому времени отец сдал книгу Айзенштадта в издательство «Советский писатель». Но ни псевдоним, ни рецензии Тарковского и Н. Панченко дела не улучшили — мистика Айзенштадта, запанибратские отношения с Богом и дьяволом, моления о кошках и собаках, беседы с мертвецами — к чему?

В 1988 году я отнесла стихи В. Блаженных в «Новый мир». Они были напечатаны в № 9 за 1988 год. Продвинулось дело и с книгой. Благодаря стараниям А. Тарковского, Н. Панченко и Г. Корина она — в плане выпуска издательства «Советский писатель» 1990 года.

Вещее слово Айзенштадта долго томилось в безвестье Но поэт — пророк. раньше или позже его слово придет к нам. Лучше — раньше

Пусть устал я в пути, как убитая верстами лошадь,
Пусть похож я уже на свернувшийся жухлый плевок,
Пусть истерли меня равнодушные ваши подошвы, —
Не жалейте меня: мне когда-то пригрелся Бог.

Елена МАКАРОВА

Великий АЙЗЕНШТАДТ

СТИХИ УХОДА

Что же делать, коль мне не досталось от Господа Бога
Ни кола, ни двора: коли стар я и сед как труха,
И по торной земле как блаженный бреду босоного,
И за пазуху прячу кровавую душу стиха.

Что же делать, коль мне тяжела и котомка без хлеба,
И не грешная мне примерещилась женская плоть,
А мерещится мне с чертовщиной потешною небо:
Он и скачет, и пляшет, и рожицы кажет — Господь.

Что же делать, коль я загляделся в овраги и в омут,
И, как старого пса, приласкал притомнвшийся день,
Ну, а к вам подхожу, словно к погребу пороховому:
До чего же разит и враждой и бедой от людей!

... Пусть устал я в пути, как убитая верстами лошадь,
Пусть похож я уже на свернувшийся жухлый плевок,
Пусть истерли меня равнодушные ваши подошвы, —
Не жалейте меня: мне когда-то пригрелся Бог.

Не жалейте меня: я и сам никого не жалею,
Этим праведным мыслям меня обучила трава,
И когда я в овраге на голой земле околею,
Что же, — с Господом Богом не страшно и околевать.

Я на голой земле умираю, и стар и безгрешен,
И травинку жую не спеша, как пшеничный пирог ...
... А как вспомню Его, до чего же он всё же потешен
Он и скачет, и пляшет, и рожицы кажет мне — бог.

Прибежище мое — Дом обреченно-робких,
Где я среди других убогих проживал,
Где прятал под матрац украденные корки
И ночью, в тишине, — так долго их жевал.

... Вот эта корка — Бог, ее жуют особо,
Я пересохший рот наполню не слюной,
А вздохом всей души, восторженной до гроба,
Чтобы размякший хлеб и Богом был и мной.

Чтобы я проглотил Христово обещанье, —
И вдруг увидел даль и нищую суму,
И Дом перешагнул с котомкой за плечами,
И вышел на простор Служения Ему...

* * *

— Но разве мертвый страшен мертвецу? —
Так и кощунственно и многократно
Я повторял умершему отцу. —
И кто же убедит меня в обратном?..

И кто же убедит меня, что я —
И потому лишь, что живу на свете —
Остался в круге косном бытия,
Когда меня из круга вырвал ветер...

Когда распался я на сто костей
И стал вращаться в сумасшедшей сфере,
И звезды, одичав на высоте,
Мой голый перебрасывают череп...

* * *

Теперь, когда померк мой свет нерукотворный,
Я изредка в сарай спускаюсь со свечой,
И освещает луч то полумрак тлетворный,
То что-то, что живет-топорщится еще...

Котенок ли с душой непризнанного принца
Ступает по своей беспамятной беде,
Иль мышь в своем углу стыдливо копошится —
Монахиня, чей благ и девственен удел...

Сарай или подвал — как я люблю рутинный
Ваш медленный уклад, где я и раб и жрец,
И маска на лицо ложится паутины,
Как будто я уже бесчувственный мертвец.

Бестрепетной рукой я прикасаюсь к тлену —
Полуистлевших дней разорванной парче...
Так это вот и есть сокровища вселенной, —
А там, во тьме могил, — и вовсе их не счастье!..

* * *

Я поверю, что мертвых хоронят, хоть это нелепо,
Я поверю, что жалкие кости истлеют во мгле,
Но глаза — голубые и карие отблески неба, —
Разве можно поверить, что небо хоронят в земле?..

Было небо тех глаз грозovým или было безбурным,
Было радугой-небом или горемычным дождем, —
Но оно было небом, глазами, слезами — не урной,
И не верится мне, что я только на гибель рожден!..

... Я раскрою глаза из могильного темного склепа,
Ах, как дорог ей свет, как по небу душа извелась, —
И струится в глаза мои мертвые вечное небо,
И блуждает на небе огонь моих плачущих глаз...

* * *

... Мельница вертится — богово-чертова,
Имя мое — не мое, а бессчетное,
Я на земле поселил свои области,
Я на земле поселил свои горести,
Царство стихов основал самозванное ...
... Люди, простите меня, окаянного.

Вертится мельница — мельница мамина,
Сердце — родимую болью измаяно,
Мать говорит мне, куда же ты, маленький,
В стужу такую — без шапки, без валенок, —
Ты подкрепился бы лучше лепешкою
Да не водился с собакой и кошкою ...

Вертится мельница, вертится мельница,
Мир — никуда от меня он не денется,
Я и за гробом однажды найду его,
Вот он — зверинец дедушки Дурова:
Звери двуногие, четвероногие,
Люди свирепые, люди убогие ...

Вертится мельница безостановочно,
Вертится брат мой в петле веревочной,
Вертятся встречи, предтечи, прощания,
Вертимся все мы, планетой вращаемы, —
Вниз головою, вверх головою,
Пылью космическою, мировую ...

Но и в бреду бытия беспросветного
Есть у меня моя тропка заветная ...
Рядом со мною и мать, и безвестные
Звери — скитальцы мои бессловесные, —
Кошка свой хвост распушила лохматая,
Словно дымок над родительской хатой ...

* * *

Мать, потеснись в гробу немного,
Хочу я спрятаться во мгле
И от безжалостного Бога,
И от живущих на земле.

Хочу я спрятать свою душу,
Пускай родимая рука
Оберегает ее в стужу,
Как бесприютного щенка.

Ты скажешь, матушка, что псина
К тебе пристроилась в гробу,
А это гладила ты сына,
Его бездомную судьбу.

* * *

Не говори, Господь, что ты не встретил мамы,
Когда она брела, вконец осиротев,
И на груди ее висел могильный камень
Юдольной маеты и каменных потерь.

И сонмы райских душ взирали удивленно
На мать мою — зачем ей непосильный груз,
Когда не слышит Бог ни ропота, ни стога —
Одну лишь похвалу из утомленных уст . . .

* * *

Не горюй, моя мать: мы на свете живем не однажды,
Я клянусь, что тебе чудотворной достану водицы,
Чтобы ртом, изнемогшим во гробе от горестной жажды,
Ты могла этой влаги из слез моих жарких напиток . . .

Не горюй, моя мать: этой влаги нам хватит надолго,
Мы не просто земные скитальцы, а божии дети,
И я верю, что я — не зарытая в сене иголка, —
Я как огненный столп засияю над верстами смерти.

Не горюй, моя мать: мне не страшно по зною и в стужу
И живую и мертвой тобою в пути верховодить, —
Мы еще побродяжим, старушка, по нашу же душу,
Мы еще поживем и с душою по свету побродим . . .

Ибо где-то в замирной глуши затерялось начало, —
И на страшных пространствах предвечного странника-Бога
Сколько раз ты меня провожала, прощала, встречала,
Сколько раз я тебя провожал и встречал у порога . .

* * *

Как две свечи, — два лика восковых,
Два чистые страданья перед Богом
Затеplit в церкви плачущий старик . . .
Отец и мать в бреду его убогом.

Но нет, молитва жаркая — не бред,
Старик, как в детстве, восклицает: «Мама! . . .»
— Обереги, Господь, его от бед,
Не изгоняй безумного из храма . . .

* * *

Господи, скучно бродить за тобой с мертвецами;
Если запомнил Ты малых замученных сих, —
Ту, что приходит ко мне с бесприютными снами,
Кошку бродячую — кошку, Господь, воскреси! . .

Я ли бродил по земле или кошка бродила —
Та же над нами горела на небе звезда,
Та же нас даль в неоглядную смерть уводила
И на земных перепутьях томила беда.

Были тревожными частые с кошкою встречи,
Словно друг другу мы свой поверяли рассказ, —
Так ей хотелось проникнуть в глаза человеечьи,
Так мне хотелось проникнуть в тоску ее глаз . . .

. . . Господи, лапы кошачьи наполнены болью
И как по злобному лаю бредут по земле,
Но воскреси эту кошку своею любовью,
Малую искру в загробной распутой золе . . .

СТИХИ УХОДА

Больше жизни любивший волшебную птицу-свободу,
Ту, которая мне примерещилась как-то во сне,
Одному научился я гордому шагу — уходу,
Ухожу, ухожу, не желайте хорошего мне.

Ухожу от бесед на желудок, спокойный и сытый,
Где обширные плечи подсчитывают барыши . . .
Там, где каждый кивок осторожно и точно рассчитан,
Не страшит меня гром — шепоток ваш торгаший страшит.

Ухожу равнодушно от ваших возвышенных истин,
Корифеи искусства, мазурики средней руки,
Как похабный товар, продающие лиры и кисти,
У замызганных стоек считающие медяки.

Ухожу и от вас — продавщицы роскошного тела,
Мастерицы борщей и дарительницы услад,
На потребу мужей запустившие ревностно в дело
И капусту, и лук, и петрушку, и ляжки, и зад.

Ах, как вы дорожите подсчетом, почетом, покоем —
Скупердяи-юнцы и трясущиеся старички . . .
Я родился изгоем и прожил по-волчьи изгоем,
Ничего мне не надо из вашей поганой руки.

Не простит мне земля моей волчьей повадки сутулой,
Не простит мне гордыни домашний разбуженный скот . . .
Охромевшие версты меня загоняют под дула
И ружейный загон — мой последний из жизни уход.

Только ветер да воля моей верховодили долей,
Ни о чем не жалею — я жил, как хотелось душе,
Как дожди и как снег, я шатался с рассвета по полю,
Грозовые раскаты застряли в оврагах ушей.

Но не волк я, не зверь — никого я не тронул укусом:
Побродивший полвека по верстам и вехам судьбы,
Я собакам и кошкам казался дружком-Иисусом,
Каждой твари забитой я другом неназванным был.

. . . Если буду в раю и Господь мне покажется глупым,
Или слишком скупым, или, может, смешным стариком, —
Я, голодный как пес, откажусь и от райского супа —
Не такой это суп — не такой это рай — и Господь не такой! . . .

И уйду я из неба — престольного божьего града,
Как ушел от земли и как из дому как-то ушел . . .
Ухожу от всего . . . Ничего, ничего мне не надо . . .
Ах, как нищей душе на просторе вздохнуть хорошо! . . .

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Глава 19

ЗЭКИ КАК НАЦИЯ

(Этнографический очерк Фан Фаныча)

В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное научное открытие.

При развитии своей гипотезы мы бы никак не хотели прийти в противоречие с Передовым Учением.

Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего Архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал обильный материал.

В результате нам ничего не стоит сейчас доказать, что **зэки** Архипелага составляют класс общества. Ведь эта многочисленная (многомиллионная) группа людей имеет единое (общее для всех них) отношение к производству (именно: подчиненное, закрепленное и без всяких прав этим производством руководить). Также имеет она единое общее отношение и к распределению продуктов труда (именно: никакого отношения, получает лишь ничтожную долю продуктов, необходимую для худого поддержания собственного существования). Кроме того, вся работа их — не мелочь, а одна из главных со-

ставных частей государственной экономики*.

По нашему честолюбию этого уже мало.

Гораздо сенсационнее было бы доказать,¹ что эти опустившиеся существа (в прошлом — безусловно люди) являются совсем иным биологическим типом по сравнению с Homo sapiens. (Может быть, как раз — недостающим для теории эволюции промежуточным звеном.) Однако эти выводы у нас еще не все готовы. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и без надежды на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков (уж не используем затрепанного по метафорам волка) и оказалось бы, что телесно он выдюживает (кто сразу ножки съест, с того и спро-

* Этого никак не скажешь об отверженных в западных странах. Там они — **пибо** порознь томящиеся одиночки и **вовсе не работают**, пибо — немногочисленные гнезда каторги, труд которых почти не отзывается на экономике своей страны.

Окончание. Нач. см. «Даугава», № 10 и 11.

са нет), — так вот мог ли бы он, ведя новую жизнь, все же остаться среди барсуков — человеком? Думаем, что нет, так и стал бы барсуком: и шерсть бы выросла, и заострилась морда, и уже не надо было бы ему вареного-жареного, а вполне бы он лопал сырое.

Представьте же, что островная среда так резко отличается от обычной человеческой и так жестоко предлагает человеку или немедленно приспособиться или немедленно умереть, — что мнет и жует характер его куда решительней, чем чужая национальная или чужая социальная среда. Это только и можно сравнить с переходом именно в животный мир.

Но это мы отложим до следующей работы. А здесь поставим себе такую ограниченную задачу: доказать, что эски составляют особую отдельную нацию.

Почему в обычной жизни классы не становятся нациями в нации? Потому что они живут территориально перемешанно с другими классами, встречаются с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях, и разговаривают, и обмениваются идеями через голос и через печать. Эски живут, напротив, совершенно обособленно, на своих островах, их жизнь проходит в общении только друг с другом (вольных работодателей большинство их даже не видит, а когда видит, то ничего, кроме приказаний и ругательств, не слышит). Еще углубляется их отобщенность тем, что у большинства нет ясных возможностей покинуть это состояние прежде смерти, то есть выбиться в другие, более высокие классы общества.

Кто из нас еще в средней школе не изучал широкоизвестного единственно научного определения нации, данного товарищем Сталиным: нация — это исторически сложившаяся (но не расовая, не племенная) общность людей, имеющих общую территорию; общий язык; общность экономической жизни; общность психического склада, проявляющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы Архипелага вполне удовлетворяют! — и даже еще гораздо больше! (Нас особенно освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племенная общность крови совсем не обязательна.)

Наши туземцы занимают вполне определенную общую территорию (хотя и раздробленную на острова, но в Тихом же океане мы этому не удивляемся), где другие народы не живут. Экономический уклад их однообразен до поразительности: он весь исчерпывающе описывается на двух машинописных страницах (котловка и указание бухгалтерии, как перечислять мнимую зарплату эзков на содержание зоны, охраны, островного руководства и государства). Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до такой степени единообразен на островах (но нигде больше!), что переброшенные с острова на остров эски ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а сразу безошибочно действуют на новом месте («питаться на научной основе, воровать как сумешь»). Они едят пищу, которой никто больше на земле не ест, носят одежду, которой никто больше не носит, и даже распорядок дня у них — один по всем островам и обязателен для каждого эзка. (Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единые распорядок дня, пищу и одежду?)

Что понимается в научном определении нации под общностью культуры — так недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной литературы мы не можем требовать от эзков по той причине, что у них нет письменности. (Но ведь это — почти у всех островных туземных народов, у большинства — по недостатку именно культуры, у эзков — по избытку цензуры.) Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке — общность психологии эзков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философских взглядов, о чем можно только мечтать другим народам и что не оговорено в научном определении нации. Именно ясно выраженный народный характер сразу замечает исследователь у эзков. У них есть и свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяет их еще один уголок культуры, который уже неразрывно сливается с языком, и который мы лишь приблизительно можем описать бледным термином матерщина (от латинского *mater*). Это — та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее всего остального языка, потому что позволяет эзкам общаться друг с другом в более энергичной и корот-

кой форме, чем обычные языковые средства.* Постоянное психологическое состояние эзков получает наилучшую разрядку и находит себе наиболее адекватное выражение именно в этой высокоорганизованной матерщине. Поэтому весь прочий язык как бы отступает на второй план. Но и в нем мы наблюдаем удивительное сходство выражений, одну и ту же языковую логику от Колымы и до Молдавии.

Язык туземцев Архипелага без особого изучения так же непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. (Ну, например, может ли читатель понять такие выражения, как:

- сблочивай лепёнь!
- я еще клякаю;
- дать набой (о чем);
- лепить от фонаря;
- петушок к петушку, раковые шейки в сторону!?)

Все сказанное и разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на Архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя национальная принадлежность человека.

Предвидим такое возражение. Нам скажут: но народ ли это, если он пополняется не обычным способом деторождения? (Кстати, в единственно научном определении нации это условие не оговорено!). Ответим: да, он пополняется техническим способом посадки (а своих собственных детенышей по странной прихоти отдает соседним народам). Однако, ведь цыплят выводят в инкубаторе — и мы же не перестаем от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом?

Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как эзки начинают существование, то в том, как они его прекращают, сомненья быть не может.

Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток.

Два слова о самом термине эзки. До 1934 года официальный термин был лишенные свободы. Сокращалось это «л/с», и осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как «элэсов» — свидетелств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на «заклученные» (вспомним, что Архипелаг уже начинал каменеть и даже официальный язык приспособлялся, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше свободы, чем тюрьмы). Сокращенно стали писать: для единственного числа «з/к» (зэ-кá), для множественного — з/к з/к (зэ-ка зэ-ка). Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкали. Однако казенно рожденное слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитем мертвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смысленных туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях стали его по-разному к себе переименовывать: в одних местах говорили «Захар Кузьмич» или (Норильск) «заполярные комсомольцы», в других (Карелия) больше «зак» (это верней всего этимологически), в иных (Инта) — «зык». Мне приходилось слышать «зэк».* Во всех этих случаях оживленное слово начинало склоняться по падежам и числам. (А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре «зэ-ка». Остается пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо.) Пишем же мы это слово через «э», а не через «е» потому, что иначе нельзя обеспечить твердого произношения звука «з».

* * *

К л и м а т Архипелага — всегда жаркий, даже если островок затесался и в южные моря. Климат Архипелага — двенадцать месяцев зима, остальное лето. Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы.

Одеты эзки даже и летом в мягкую серую броню телогреек. Одно это вместе со сплошной стрижкой голов у мужчин придает им единство в немощности. Но даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общ-

* Экономность этого способа общения заставляет задуматься, нет ли тут зачатков Языка Будущего!

* Старый словочанин Д. С. Л. уверяет, что он в 1931 слышал, как конвоир спросил туземца: «Ты кто? — ээк!»

ностью выражений их лиц — всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительность и даже жестокость. Выражения их лиц таковы, как если бы они были отлиты из этого смугло-медного (зэки относятся, очевидно, к индейской расе), шершавого, почти уже и не телесного материала, для того, чтобы постоянно идти против встречного ветра, на каждом шагу еще ожидая укуса слева или справа. Также вы могли бы заметить, что в действии, работе и борьбе их плечи развернуты, груди готовы принять сопротивление, но как только зэк остается в бездействии, в одиночестве и в размышлении — шея его перестает выдерживать тяжесть головы, плечи и спина сразу выражают необратимую сутулость, как бы даже прирожденную. Самое естественное положение, которое принимают его освобожденные руки, это — соединиться в кистях за спиной, если он идет, либо уж вовсе повиснуть, если он сидит. Сутулость и придавленность будут в нем, и когда он подойдет к вам — вольному человеку, а потому и возможному начальству. Он будет стараться не смотреть вам в глаза, а в землю, но если вынужден будет посмотреть, — вас поразит его тупой белостелый взгляд, хотя и старательный к выполнению вашего распоряжения (впрочем, не доверяйтесь, он его не выполнит). Если вы велите ему снять шапку (или он сам догадается), — его обритый череп неприятно поразит вас антропологически — шишками, впадинами и асимметричностью явно-дегенеративного типа.

В разговоре с вами он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно-тупо либо с подобострастием, если ему о чем-нибудь нужно вас просить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собой, вы, пожалуй, навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру — как бы толкающую звуками, зло-насмешливую, требовательную и никогда не сердечную. Она настолько свойственна туземцам, что даже когда туземец остается наедине с туземкою (кстати, островными законами это строжайше воспрещено), то представить себе нельзя, чтоб он от этой манеры освободился. Вероятно, и ей он высказывался так же толкающе-повелительно, никак нельзя вообразить зэка, говоря-

щего нежные слова. Но и нельзя не признать за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде: «простите», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий. Речь зэка прямо идет к цели, как сам он прет против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своему собеседнику в морду, бьет словами. Как опытный боец старается сшибить противника с ног обязательно первым же ударом, так и зэк старается озадачить собеседника, сделать его немым, даже заставить захрипеть от первой же фразы. Встречный к себе вопрос он тут же отшибает начисто.

С этой отталкивающей манерой читатель даже и сегодня может встретиться в непредвиденных обстоятельствах. Например, на троллейбусной остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горячим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольное наглядно стряхнули раз, он продолжает сыпать. Вы говорите ему:

— Послушайте, товарищ, вы бы с курением все-таки поосторожнее, а? . .

Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам:

— А вы не застрахованы?

И пока вы ищете, что же ответить (ведь не найдешь!), он уже лезет раньше вас в троллейбус. Вот это очень все похоже на туземную манеру.

Помимо прямых многослойных ругательств зэки имеют, по-видимому, также и набор готовых выражений, онемляющих всякое разумное постороннее вмешательство и указание. Такие выражения, как:

— Не подначивайте, я не вашего бога!

или

— Тебя не [гребут] — не подмахивай! — (Здесь в квадратных скобках мы поставили фонетический аналог другого ругательного слова, от которого и второй глагол во фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл.)

Подобные отрывающие выражения особенно неотразимо звучат из уст туземок, так как именно они особенно вольно используют для метафор эротическое основание. Мы сожалеем, что нравственные рамки не позволяют нам украсить исследование еще и этими примерами. Мы осмелимся привести

только еще одну иллюстрацию подобной быстроты и ловкости эзков на язык. Некий туземец по фамилии Глик был привезен с обычного острова на особый, в закрытый научно-исследовательский институт (некоторые туземцы до такой степени развиты от природы, что даже годны для ведения научной работы), но по каким-то личным соображениям новое льготное место его не устраивало, а хотел он вернуться на свой прежний остров. Когда его вызвали перед лицо весьма авторитетной комиссии с крупными звездами на погонах, и там ему объявили:

— Вот вы — инженер-радиотехник, и мы хотим вас использовать... — он не дал им договорить «по специальности». Он резко дернулся:

— Использовать? Так что — стать раком?

И взялся за пряжку брюк, и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естественно, что комиссия онемела, и никаких переговоров не состоялось. Глик был тут же отправлен.

Любопытно отметить, что сами туземцы Архипелага отлично сознают, что вызывают большой интерес со стороны антропологии и этнографии, и даже этим они бахвалятся, это как бы увеличивает их собственную ценность в своих глазах. Среди них распространена и часто рассказывается легенда-анекдот о том, что некий профессор-этнограф, очевидно наш предшественник, всю жизнь изучал породу эзков и написал в двух томах пухлое сочинение,

где пришел к тому окончательному выводу, что арестант — ленив, обжорлив и хитер (здесь и рассказчик и слушатели довольно смеются, как бы любясь собою со стороны). Но что якобы вскоре после этого посадили и самого профессора (очень неприятный конец, но без вины у нас не сажают, значит, что-то было). И вот, потолкавшись на пересылках и дойдя на общих, профессор понял свою ошибку, он понял, что на самом деле арестант — звонкий, тонкий и прозрачный. (Характеристика — весьма меткая и опять-таки в чем-то лестная. Все снова смеются.)

Мы уже говорили, что у эзков нет своей письменности. Но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре выработан и передается новичкам весь кодекс правильного эзческого поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот вместе взятый кодекс, запечатленный, осуществленный в нравственной структуре туземца, и дает то, что мы называем национальным типом эзка. Печать этой принадлежности встраивается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, если он окажется вне Архипелага, сперва в человеке узнаешь эзка, а лишь потом — русского или татарина, или поляка.

В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертой оглядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и нормативная этика нации эзков.

* * *

Отношение к казенной работе. У эзков абсолютно неверное представление, что работа призвана высосать из них всю жизнь, значит, их главное спасение: работать, не отдавая себя работе. Хорошо известно эзкам: всей работы не переделаешь (никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрее и присяду отдохнуть: как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). Работа дураков любит.

Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя! — сносят в карцерах, смотрят голодом. Выходить на работу — неизбежно, но там-то, в рабочий день, надо не вкалывать, а «ковыряться», не мантулить, а кантоваться, филонить (то есть не работать все равно). Туземец ни от одного при-

казания не отказывается открыто, наоборот — это бы его погубило. Но он — тянет резину. «Тянуть резину» — одно из главнейших понятий и выражений Архипелага, это — главное спасительное средство эзков (впоследствии оно широко перенято и работягами воли). Эзк выслушивает все, что ему приказывают, и утвердительно кивает головой. И — уходит выполнять. Но — не выполняет! Даже чаще всего — и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремленных неутюженных командиров производства. Естественно возникает желание — кулаком его в морду или по захрястку, это тупое бессмысленное животное в лохмотьях, — ведь ему же русским языком было сказано!.. Что за беспонятли-

вость? (Но в том-то и дело, что русский советский язык плохо понимается туземцами, ряду наших современных предшественников — например, «рабочая честь», «сознательная дисциплина» — на их убогом языке даже нет эквивалента.) Однако, если насчитает начальник вторично — ээк покорно сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. Сердце работодателя слегка отпускает, он идет дальше по своим неотложным многочисленным руководящим делам — а ээк за его спиной сейчас же садится и бросает работу (если нет над ним бригадирского кулака или лишения хлебной пайки не угрожает ему сегодня же, а также если нет приманки в виде зачетов). Нам, нормальным людям, даже трудно понять эту психологию, но она такова.

Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспособленная к условиям. На что он может рассчитывать? Ведь работа сама не сделается, а начальник подойдет еще раз — будет хуже? А вот на что он рассчитывает: сегодня третий раз начальник скорей всего и не подойдет. А до завтра еще дожить надо. Еще сегодня вечером ээка могут усрать на этап или перевести в другую бригаду, или положить в больницу, или посадить в карцер — а отработанное им тогда достанется другому? А завтра этого же ээка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам же начальник отменит, что делать этого не надо или совсем не так надо делать. От многих таких случаев усвоили ээки прочно: не делай сегодня того, что можно сделать завтра. На ээка где сядешь, там и слезешь. Опасается он потратить лишнюю калорию там, где ее, может быть, удастся не потратить. (Понятие о калориях — у туземцев есть и очень популярно.) Между собою ээки так откровенно и говорят: кто везет, того и погоняют (а кто, мол, не тянет, до того и рукой машут). В общем, работает ээк лишь бы день до вечера.

Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего потому, что лагерное правило «кто везет, того и погоняют» оказывается одновременно и старой русской поговоркой. Находим мы у Даля* также

и другое чисто ээковское выражение: «живет как бы день к вечеру». Такое совпадение вызывает у нас вихрь мысли: теория заимствования? теория странствующих сюжетов? мифологическая школа? Продолжая эти опасные сопоставления, мы находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном праве и уже отстоявшихся к XIX веку, такие:

— Дела не делай, от дела не бегай (поразительно! но ведь это же и есть принцип лагерной резины!).

— Дай Бог все уметь, да не все делай.

— Господской работы не переделаешь.

— Ретивая лошадка недолго живет.

— Дадут лопоту, да заставят неделю молоту. (Очень похоже на ээковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не восполняет трудовых затрат.)

Что ж это получается? Что через все светлые рубежи наших освободительных реформ, просветительства, революции и социализма, екатерининский крепостной мужик и сталинский ээк, несмотря на полное несходство своего социального положения, —жимают друг другу черные корявые руки?.. Этого не может быть!

Здесь наша эрудития обрывается, и мы возвращаемся к своему изложению.

Из отношения к работе вытекает у ээка и отношение к начальству. По видимости он очень послушен ему; например, одна из «заповедей» ээков: не залупайся! — то есть никогда не спорь с начальством. По видимости он очень боится его, гнет спину, когда начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой расчет: избежать лишних наказаний. На самом деле ээк совершенно презирает свое начальство — и лагерное, и производственное, но прикровенное, не выказывая этого, чтобы не пострадать. Гурьбой расходясь после всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, ээки тут же вполголоса смеются между собой: было бы сказано, а забыть успеем! Ээки внутренне считают, что они превосходят свое начальство — и по грамотности, и по владению трудовыми специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто так и бывает, но тут ээки

* В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957, с. 257.

в своем самодовольстве упускают, что зато администрация островов имеет постоянное преимущество перед туземцами в мировоззрении. Вот почему совершенно несостоятельно наивное представление эзков, что начальство — это как хочю, так и кручу, или «закон здесь — я!».

Однако это даёт нам счастливый повод провести различительную черту между туземным состоянием и старым крепостным правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык чувствовать в нем нечто высшее, отчего бывали во множестве Савельичи и Фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным рабством раз и навсегда покончено. И среди десятков миллионов эзков нельзя представить себе ни одного, который бы искренно обожал своего начальника.

А вот и важное национальное отличие эзков от наших с вами, читатель, соотечественников: эзки не тянутся за похвалой, за почетными грамотами и красными досками (если они не связаны прямо с дополнительными пирожками). Все то, что на воле называется трудовой славой, для эзков по их тупости — лишь пустой деревянный звон. Тем еще более они независимы от своих опекунов, от необходимости угождать.

Вообще у эзков вся шкала ценностей — перепокинута, но это не должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так: за крохотное зеркальце они отдадут жирную свинью, за дешевые бусы — корзину кокосовых орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, — ценности идейные, жертвенность и желание бескорыстно трудиться для будущего, — у эзков не только отсутствует, но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что эзки нацело лишены патриотического чувства, они совсем не любят своих родных островов. Вспомним хотя бы слова их народной песни:

«Будь проклята ты, Колыма!
Придумали же гады планету! . . .»

Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, которые называются в просторечии побегам.

Выше всего у эзков ценится и на первое место ставится так называемая пайка — это кусок черного хлеба с подмесьями, дурной выпечки, который мы

с вами и есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупной и тяжелей. Тем, кто видел, с какой жадностью набрасываются эзки на свою утреннюю пайку и доедают ее почти до рук, — трудно отогнать от себя это незстетическое воспоминание. На втором месте у них идет махорка или самосад, причем меновые соотношения дико произвольные, не считающиеся с количеством общественно-полезного труда, заложенного в то и другое. Это тем более чудовищно, что махорка у них является как бы всеобщей валютой (денежной системы на островах нет). На третьем месте идет баланда (островной суп без жиров, без мяса, без круп и овощей, по обычаю туземцев). Пожалуй, даже парадный ход гвардейцев точно в ногу, в сияющей форме и с оружием, не производит на зрителя такого устрашающего впечатления, как вечерний вход в столовую бригады эзков за баландою: эти бритые головы, шапки-нашлепки, лохмотья связаны веревочками, лица злые, кривые (откуда у них на баланде эти жилы и силы?), — двадцатью пятью парами ботинок, чуней и лаптей — туп-туп, туп-туп, отдай пайку, начальник! Посторонись, кто не нашей веры! В эту минуту на двадцати пяти лицах у самой уже добычи приоткрывается вам явственно национальный характер эзка.

Мы замечаем, что, рассуждая о народе эзков, почти как-то не можем представить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имен. Но это — не порок нашего метода, это отражение того стадного строя жизни, который ведет этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов семейной жизни и оставления потомства (они уверены, что их народ будет пополнен другим путем). На Архипелаге очень своеобразен именно этот коллективный образ жизни — то ли наследие первобытного общества, то ли — уже заря будущего. Вероятно — будущего.

Следующая у эзков ценность — сон. Нормальный человек может только удивляться, как много способен спать эзк и в каких различных обстоятельствах. Нечего и говорить, что им невдомга бессонница, они не применяют снотворных, спят все ночи напролет, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носилок, пока те нагру-

жаются; умеют заснуть на разводе, расставив ноги; и даже идя под конвоем в строю на работу — тоже умеют заснуть, но не все: некоторые при этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое: во сне быстрой идет срок. И еще ночь для сна, а день для отдыха*.

Мы возвращаемся к образу бригады, топающей за «законной» (как они говорят) баландой. Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт народа эзков — ж и з н е н о г о н а п о р а (и это не идет в противоречие с их склонностью часто засыпать. Вот для того-то они и засыпают, чтобы в промежутке иметь силы для напора). Напор этот — и буквальный, физический, на финишных прямых перед целью — едой, теплой печкой, сушилкой, укрытием от дождя, и эск не стесняется в этой толчке садануть соседа плечом в бок; идут ли два эска поднять бревно — оба они направляются к хлыстовому концу, так чтобы комлевой достался напарнику. И напор, в более общем смысле — напор для занятия более выгодного жизненного положения. В жестоких островных условиях (столь близких к условиям животного мира, что мы безошибочно можем прилагать сюда дарвиновскую struggle for life) от успеха или неуспеха в борьбе за место часто зависит сама жизнь — и в этом пробитии дороги себе за счет других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: совесть? в личном деле осталась. При важных жизненных решениях они руководятся известным правилом Архипелага: лучше ссучиться, чем мучиться.

Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной ловкостью, и з в о р о т л и в о с т ь ю в труднейших обстоятельствах.** Это качество эск должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам: для того чтобы сохранить от гибели свое жалкое убудочное добро — какой-нибудь погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку-работницу. Однако в борьбе за важное место в островной

иерархии — изворотливость должна быть более высокая, тонкая, рассчитанная темниловка. Чтобы не отяжелеть исследование — вот один пример. Некий эск сумел занять важную должность начальника промышленных мастерских при хоздворе. Одни работы его мастерским удаются, другие нет, но крепость его положения зависит даже не от удачного хода дел, а от того понта, с которым он держится. Вот приходят к нему офицеры МВД и видят на его письменном столе какие-то глиняные конусы. — «А это — что у тебя?» — «Конусы Зегера». — «А зачем?» — «Определять температуру в печах». — «А-а-а», — с уважением протянет начальник и подумает: ну, и хорошего ж я инженера поставил. А конусы эти своим плавлением никакой температуры определить не могут, потому что они из глины не только не стандартной, а — неизвестно какой. Примелькиваются конусы, — и у начальника мастерских новая игрушка на столе — оптический прибор без единой линзы (где же на Архипелаге линзы брать?). И опять все удивляются.

И постоянно должна быть голова эска занята вот такими ложными боковыми ходами.

Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, эск должен проявлять гибкость поведения — от грубого действия кулаком или горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности слову, данному с глазу на глаз и, казалось бы, совсем не обязательному. (Так почему-то все эски свято верны обязательствам по тайным взяткам и исключительно терпеливы и добросовестны в выполнении частных заказов. Рассматривая какую-нибудь чудесную островную выделку с резьбой и инкрустацией, подобные которым мы видим только в музее Останкино, бывает нельзя поверить, что это делали те самые руки, которые сдают работу десятнику, лишь колышком подперев, а там пусть сразу и рухнет.)

Эта же гибкость поведения отражается и известным правилом эзков: дают — бери, бьют — беги.

Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян ГУЛАГа их скрытность. Их характер и замыслы настолько глубоко спрятаны, что непривычному начинающему работодателю поначалу кажется, что эски гнутся как травка — от ветра

* Парадоксально, но сходные пословицы есть и у русского народа:

— Ходя наемся, стая выплещу.

— Где щель, там и постель.

** У русских: «Передом кланяется, боком глядит, задом щупает».

и сапога*. (Лишь позже он с горечью убедится в лукавстве и неискренности островитян.) Скрытность — едва ли не самая характерная черта эзковского племени. Эзк должен скрывать свои намерения, свои поступки и от работников, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называемых «стукачей»**. Скрывать ему надо удачу свои, чтоб их не перебили. Скрывать надо планы, расчеты, надежды — готовится ли он к большому «побегу», или надумал, где собрать стружку для матраса. В эзковской жизни всегда так, что открыться — значит, потерять... Один туземец, которого я угостил махоркой, объяснил мне так (даю в русском переводе): «откроешься, где спать тепло, где десятник не найдет, — и все туда налезут, и десятник нанюхает. Откроешься, что письмо послал через вольного***, и все этому вольному письма понесут, и накроют его с теми письмами. И если обещал тебе каптер сорочку рваную сменить — молчи, пока не сменишь, а когда сменишь — опять же молчи: и его не подводи и тебе еще пригодится.**** С годами эзк настолько привыкает все скрывать, что даже усилия над собой ему для этого не надо делать: у него отмирает естественное человеческое желание поделиться переживаемым. (Может быть, следует признать в этой скрытности как бы защитную реакцию против общего закрытого хода вещей? Ведь от него тоже всячески скрывают информацию, касающуюся его судьбы.)

Скрытность эзка вытекает из его круговой недоверчивости: он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нем особенно сильное подозрение. Закон-тайга, вот как он формулирует высший императив человеческих отношений. (На островах Архипелага и действительно большие массивы тайги.)

Тот туземец, который наиболее полно совместил и проявил в себе эти пле-

менные качества — жизненного напора, безжалостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет и его называют «сыном ГУЛАГа». Это у них — как бы звание почетного гражданина, и приобретается оно, конечно, долгими годами острой жизни.

Сын ГУЛАГа считает себя неприкосновенным, но что, напротив, он сам видит окружающих насквозь и, как говорится, на два метра под ними вглубь. Может быть, это и так, но тут-то и выявляется, что даже у самых проницательных эзков — обрывистый кругозор, недалекий взгляд вперед. Очень трезво судя о поступках, близких к нему, и очень точно рассчитывая свои действия на ближайшие часы, рядовой эзк, да даже и сын ГУЛАГа не способен ни мыслить абстрактно, ни охватить явлений общего характера, ни даже разговаривать о будущем. У них и в грамматике будущее время употребляется редко: даже к завтрашнему дню оно применяется с оттенком условности, еще осторожнее — к дням уже начавшейся недели, и никогда не услышишь от эзка фразы: «на будущую весну я...» Потому что все знают, что еще перезимовать надо, да и в любой день судьба может перевернуть его с острова на остров. Воистину: день мой — век мой!

Сыны ГУЛАГа являются и главными носителями традиций и так называемых заповедей эзков. На разных островах этих заповедей насчитывают разное количество, не совпадают в точности их формулировки, и было бы увлекательным отдельным исследованием провести их систематизацию. Заповеди эзка ничего общего не имеют с христианством. (Эзки — не только атеистический народ, но для них вообще нет ничего святого, и всякую возвышенную субстанцию они всегда спешат высмеять и унижить. Это отражается и в их языке.) Но, как уверяют сыны ГУЛАГа, живя по их заповедям, на Архипелаге не пропадешь.

Есть такие заповеди, как: не стучи (как это понять? очевидно, чтоб не было лишнего шума); не лжи мисок, то есть после других, чтоб считается у них быстрой и крутой гибелью. Не шакаль.

Интересна заповедь: не суй носа в чужой котелок. Мы бы сказали, что это — высокое достижение туземной мысли: ведь это принцип негативной свободы, это как бы обернутый ту

* Сравни у русских: «Лучше гнуться, чем переломиться».

** Малозначительное островное явление, касаться которого в нашем очерке мы считаем излишним.

*** На островах есть своя почта, но туземцы предпочитают ей не пользоваться.

**** Сравни у русских: «нашел — молчи, потерял — молчи». Откровенно говоря, параллелизм этих жизненных правил ставит нас несколько в тупик.

home is my castle и даже выше него, ибо говорит о котелке не своем, а чужом (но свой — подразумевается). Зная туземные условия, мы должны здесь понять «котелок» широко: не только как закопченную погнутую посудину и даже не как конкретное непривлекательное варево, содержащееся в нем, но и как все способы добывания еды, все приемы в борьбе за существование, и даже еще шире: как душу эзка. Одним словом, дай мне жить, как я хочу, и сам живи, как хочешь, — вот что значит этот завет. Твердый жестокий сын ГУЛАГа этим заветом обязуется не применять своей силы и напора из пустого любопытства. (Но одновременно и освобождает себя от каких-либо моральных обязательств: хоть ты рядом и околеет — мне все равно. Жестокий закон, и все же гораздо человечнее закона «блатных» — островных каннибалов: «подохни ты сегодня, а я завтра»). Каннибал-блатной отнюдь не равнодушен к соседу: он ускорит его смерть, чтоб отодвинуть свою, а иногда для потехи или из любопытства наблюдают за ней.)

Наконец, существует сводная заповедь: не верь, не бойся, не проси! В этой заповеди с большой ясностью, даже скульптурностью отливается общий национальный характер эзка.

Как можно управлять (на воле) народом, если бы он весь проникся такой гордой заповедью?.. Страшно подумать.

Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения эзков, а их психологической сути.

Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа и потом все более и более наблюдаем: душевая уравновешенность, психологическая устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд эзка на свое место во вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся тем, что они родились англичанином или французом, эзк совсем не гордится своей национальной принадлежностью, напротив: он понимает ее как жестокое испытание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У эзков есть даже такой примечательный миф: будто где-то существуют «ворота Архипелага» (сравни в античности столпы Геркулеса), так вот на лицевой стороне этих ворот для входящего будто бы надпись: «не падай духом!», а на обратной стороне для выхо-

дящего: «не слишком радуйся!» И главное, добавляют эзки: надписи эти видят только умные, а дураки их не видят. Часто выражают этот миф простым жизненным правилом: приходящий не грусти, уходящий не радуйся. Вот в этом ключе и следует воспринимать взгляды эзка на жизнь Архипелага и на жизнь обмыкающего пространства. Такая философия и есть источник психологической устойчивости эзка. Как бы мрачно ни складывались против него обстоятельства, он хмурит брови на своем грубом обветренном лице и говорит: глубже шахты не опустят. Или успокаивают друг друга: бывает хуже! — и действительно, в самых глубоких страданиях голода, холода и душевного упадка это убеждение — могло быть и хуже! — явно поддерживает и приободряет их.

Эзк всегда настроен на худшее, он так и живет, что постоянно ждет ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом постоянном ожидании беды вызывает суровая душа эзка, бестрепетная к своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим.

Отклонения от равновесного состояния очень малы у эзка — как в сторону светлую, так и в сторону темную, как в сторону отчаяния, так и в сторону радости.

Это удачно выразил Тарас Шевченко (немного побывавший на островах еще в доисторическую эпоху): «У меня теперь почти нет ни грусти, ни радости. Зато есть моральные спокойствие до рыбьего хладнокровия. Ужели постоянные несчастья могут так переработать человека?» (Письмо к Репниной).

Именно. Именно могут. Устойчивое равнодушное состояние является для эзка необходимой защитой, чтобы пережить долгие годы угрюмой островной жизни. Если в первый год на Архипелаге он не достигает этого тусклого, этого пригашенного состояния, то обычно он и умирает. Достигнув же — остается жить. Одним словом: не околеешь — так наторешься.

У эзка притуплены все чувства, огрублены нервы. Став равнодушным к собственному горю и даже к наказаниям, накладываемым на него опекунами племени, и почти уже даже — ко всей своей жизни. — он не испытывает душевного сочувствия и к горю окружающих. Чей-то крик боли или женские сле-

зы почти не заставляют его повернуть голову — так притуплены реакции. Часто эски проявляют безжалостность к неопытным новичкам, смеются над их промахами и несчастьями — но не судите их за это сурово, это они не ползу: у них просто атрофировалось сочувствие, и остается для них заметной лишь смешная сторона события.

Самое распространенное среди них мировоззрение — ф а т а л и з м. Это — их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным положением, совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время, и практической неспособностью повлиять на события. Фатализм даже необходим эзку, потому что он утверждает его в его душевной устойчивости. Сын ГУЛАГа считает, что самый спокойный путь — это полагаться на судьбу. Будущее — это кот в мешке, и не понимая его толком, и не представляя, что случится с тобой при разных жизненных вариантах, не надо слишком настойчиво чего-то добиваться или слишком упорно от чего-то отказываться, — переводят ли тебя в другой барак, бригаду, на другой лагпункт. Может, это будет к лучшему, может, к худшему, но во всяком случае ты освобождаешься от самоупреков: пусть будет тебе и хуже, но не твоими руками это сделано. И так ты сохраняешь дорогое чувство бестрепетности, не впадаешь в суетливость и искательность.

При такой темной судьбе сильны у эзков многочисленные с у е в е р и я. Одно из них тесно примыкает к фатализму: если будешь слишком заботиться о своем устройстве или даже уюте — обязательно погоришь на этап*.

Фатализм распространяется у них не только на личную судьбу, но и на общий ход вещей. Им никак не может прийти в голову, что общий ход событий можно было бы изменить. У них такое представление, что Архипелаг существовал вечно и раньше на нем было еще хуже.

Но, пожалуй, самый интересный психологический поворот здесь тот, что эски воспринимают свое устойчивое равнодушное состояние в их неприхот-

ливых убогих условиях — как победу ж и з н е л ю б и я. Достаточно чередой несчастий хоть несколько разредить, ударам судьбы несколько ослабнуть — и эск уже выражает у д о в л е т в о р е н и е ж и з н ь ю и гордится своим поведением в ней. Может быть, читатель больше поверит в эту парадоксальную черту, если мы процитируем Чехова. В его рассказе «В ссылке» перевозчик Семен Толковый выражает это чувство так:

«Я... довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. — (Курсив наш.) — Ничего мне не надо и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет».

Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах: мы слышали их не раз от эзков Архипелага (и только удивляемся, где их мог подцепить А. П. Чехов?). И дай Бог всякому такой жизни! — как вам это понравится?

До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но нельзя закрывать глаза и на его отрицательные стороны, на некоторые трогательные народные слабости, которые стоят как бы в исключении и противоречии с предыдущим.

Чем бестрепетнее, чем суровее неверие этого казалось бы атеистического народа (совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «не судите, да не судимы будете», они считают, что судимость от этого не зависит), — тем лихорадочнее настаивают его припадки безоглядной легковёрности. Можно так различить: на том коротком кругозоре, где эск хорошо видит, — он ни во что не верит. Но лишенный зрения абстрактного, лишенный исторического расчета, он с дикарской наивностью отдается вере в любой дальний слух, в туземные чудеса.

Давний пример туземного л е г к о в е р и я — это надежды, связанные с приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть почти постоянная и почти всеобщая религия на Архипелаге: это вера в так называемую Амнистию. Трудно объяснить, что это такое. Это — не имя женского божества, как мог бы подумать читатель. Это — нечто сходное со Вторым Пришествием у христианских народов, это наступление такого ослепительного сияния, при котором

* Пожары в буквальном смысле не волнуют эзков, они не дорожат своими жилищами, даже не спасают горящих зданий, уверенные, что их всегда заменят. Погореть у них применяется только в смысле личной судьбы.

мгновенно растопятся льды Архипелага, и даже расплавятся сами острова, а все туземцы на теплых волнах понесутся в солнечные края, где они тотчас же найдут близких, приятных им людей. Пожалуй, это несколько трансформированная вера в Царство Божие на земле. Вера эта, никогда не подтвержденная ни единым реальным чудом, однако очень живуча и упорна. И как другие народы связывают свои важные обряды с зимним и летним солнцеворотом, так и эски мистически ожидают (всегда безуспешно) первых чисел ноября и мая. Подует ли на Архипелаг южный ветер, тотчас шепчут с уха на ухо: «наверно, будет Амнистия! уже начнется!» Установаются ли жестокие северные ветры — эски согревают дыханием оконечевшие пальцы, трут уши, отаптываются и подбодряют друг друга: «Значит, будет Амнистия. А иначе замрзнем все на...!» (Тут — непереводаемое выражение.) Очевидно — теперь будет».

Вред всякой религии давно доказан — и тут тоже мы его видим. Эти верования в Амнистию очень расслабляют туземцев, они приводят их в несвойственное состояние мечтательности, и бывают такие эпидемические периоды, когда из рук эзков буквально вываливается необходимая срочная казенная работа, — практически такое же действие, как и от противоположных мрачных слухов об «этапах». Для повседневного же строительства всего выгоднее, чтобы туземцы не испытывали никаких отклонений чувств.

И еще есть у эзков некая национальная слабость, которая непонятным образом удерживается в них вопреки всемустрою их жизни, — это т а й н а я ж а ж д а с п р а в е д л и в о с т и.

Это странное чувство наблюдал и Чехов на острове совсем, впрочем, не нашего Архипелага: «Каторжник, как бы глубоко ни был он испорчен и несправедлив, любит больше всего справедливость, и если ее нет в людях, поставленных выше него, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие».

Хотя наблюдения Чехова ни с какой стороны не относятся к нашему случаю, однако они поражают нас своей верностью.

Начиная с попадания эзков на Архипелаг, каждый день и час их здешней жизни есть сплошная несправедливость, и сами они в этой обстановке

совершают одни несправедливости — и, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть и принять несправедливость как всеобщую норму жизни. Но нет! Каждая несправедливость от старших в племени и от племенных опекунов продолжает их ранить и ранить так же, как и в первый день. (А несправедливость, исходящая снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех.) И в фольклоре своем они создают легенды уже даже не о справедливости, а — утрируя чувство это — о неоправданном великодушии. (Так, в частности, и был создан и десятилетия держался на Архипелаге миф о великодушии относительно Ф. Каплан — будто бы она не была расстреляна, будто пожизненно сидит в разных тюрьмах, и находились даже многие свидетели, кто был с нею на этапах или получал от нее книги из бутырской библиотеки.* Спрашивается, зачем понадобился туземцам этот вздорный миф? Только как крайний случай непомерного великодушия, в которое им хочется верить. Они тогда могут мысленно обратиться его к себе.)

Еще известны случаи, когда эск любил на Архипелаге труд (А. С. Братчиков: «горжусь тем, что сделали мои руки») или по крайней мере не разлюбил его (эски немецкого происхождения), но эти случаи столь исключительны, что мы не станем их выдвигать как общепризнанную, даже и причудливую черту.

Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрытности — другая туземная черта: любовь рассказывать о прошлом. У всех остальных народов это — стариковская привычка, а люди среднего возраста как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом

* Недавно комендант Кремля товарищ Мальков официально эти слухи опроверг и рассказал, как он расстрелял Каплан тогда же. Да и Демьян Бедный присутствовал при этом расстреле. Да отсутствие ее свидетельницей на процессе эсеров в 1922 могло бы убедить эзков! — так они того процесса вообще не помнят. Мы предполагаем, что слух о пожизненном заключении Ф. Каплан потянулся от пожизненного заключения Берты Гандаль. Эта ничего не подозревающая женщина приехала из Риги в Москву как раз в дни покушения, когда братья Гандаль (ожидавшие Каплан в автомашине) были расстреляны. За то и получила Берта пожизненное.

(особенно — женщины, особенно — заполняющие анкеты, да и вообще все). Эзки же в этом отношении ведут себя как нация сплошных стариков. (В другом отношении — имея воспитателей, напротив, содержатся как нация сплошных детей.) Слова из них не выдавишь по поводу сегодняшних мелких бытовых секретов (где котелок нагреть, у кого махорку выменять), но о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку все: и как жил до Архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. (Часами они слушают, кто как «попал», и им эти однообразные истории не прискучивают нисколько. И чем случайнее, поверхностней, короче встреча двух эзков (одну ночь рядом лежали на так называемой «пересылке»), — тем развернутой и подробней они спешат друг другу все рассказать о себе.)

Тут интересно сравнить с наблюдением Достоевского. Он отмечает, что каждый вынашивал и отмучивал в себе историю своего попадания в «Мертвый дом» — и говорить об этом было у них совсем не принято. Нам это понятно: потому что в «Мертвый дом» попадали за преступление, и вспоминать о нем каторжникам было тяжело.

На Архипелаг же эзк попадает не объяснимым ходом рока или злым стечением мстительных обстоятельств — но в девяти случаях из десяти он не чувствует за собой никакого «преступления», — и поэтому нет на Архипелаге рассказов более интересных и вызывающих более живое сочувствие аудитории, чем — «как попал».

Обильные рассказы эзков о прошлом, которыми наполняются все вечера в их бараках, имеют еще и другую цель и другой смысл. Насколько неустойчиво настоящее и будущее эзка — настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего уже никто не может отнять у эзка, да и каждый был в прошлой жизни нечто большее, чем сейчас (ибо нельзя быть ниже, чем эзк; даже пьяного бродягу вне Архипелага называют «товарищем»). Поэтому в воспоминаниях самолюбие эзка берет назад те высоты, с которых его свергла жизнь*. Воспоминания еще обязатель-

но приукрашиваются, в них вставляются выдуманные (но весьма правдоподобно) эпизоды — и эзк-рассказчик, да и слушатели чувствуют живительный возврат веры в себя.

Есть и другая форма укрепления этой веры в себя — многочисленные фольклорные рассказы о ловкости и удачливости народа эзков. Это — довольно грубые рассказы, напоминающие солдатские легенды николаевских времен (когда солдата брали на двадцать пять лет). Вам расскажут и как один эзк пошел к начальнику дрова колоть для кухни — начальника дочка сама прибежала к нему в сарай. И как хитрый дневальный сделал лаз под барак и подставлял там котелок под слив, проделанный в полу посылочной комнаты. В посылках извне иногда приходит водка, но на Архипелаге — сухой закон, и ее по акту должны тут же выливать на землю (впрочем, никогда не выливали), — так вот дневальный собирал в котелок и всегда пьян был.

Вообще эзки ценят и любят юмор — и это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор — их постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на Архипелаге была бы совершенно невозможна. Они и ругань-то ценят именно по юмору: которая смешней, вот та их особенно и убеждает. Хоть небольшой толикою юмора, но сдабривается всякий их ответ на вопрос, всякое их суждение об окружающем. Спросишь эзка, сколько он уже пробыл на Архипелаге — он не скажет вам «пять лет», а:

— Да пять январей просидел.

(Свое пребывание на Архипелаге они почему-то называют сиденьем, хотя сидеть-то им приходится меньше всего.)

— Трудно? — спросишь. Ответит, зубоскаля:

— Трудно только первые десять лет.

Посочувствуешь, что жить ему приходится в таком тяжелом климате, ответит:

— Климат плохой, но общество хорошее.

Или вот говорят о ком-то уехавшем с Архипелага:

* А ведь самолюбие и у старого глухого жестянщика и у мальчишки-подсобника маляра ничуть не меньше, чем у прославленного столичного режиссера, это надо иметь в виду.

— Дали три, отсидел пять, выпустили досрочно.

А когда стали приезжать на Архипелаг с путевками на четверть столетия:

— Теперь двадцать пять лет жизни обеспечено!

Вообще же об Архипелаге они судят так:

— Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет.

(Здесь — неправомерное обобщение: мы-то с вами, читатель, вовсе не собираемся там быть, правда?)

Где бы когда бы ни услышали туземцы чью-либо просьбу чего-нибудь добавить (хоть кипятку в кружку), — все хором тотчас же кричат:

— Прокурор добавит!

Вообще к прокурорам у эзков непонятное ожесточение, оно часто прорывается. Вот, например, по Архипелагу очень распространено такое несправедливое выражение:

— Прокурор — топор.

Кроме точной рифмы мы не видим тут никакого смысла. Мы с огорчением должны отметить здесь один из случаев разрыва ассоциативных и причинных связей, которые снижают мышление эзков ниже среднего общечеловеческого уровня. Об этом чуть дальше.

Вот еще образцы их милых беззлобных шуток:

— Спит-спит, а отдохнуть некогда.

— Воды не пьешь — от чего сила будет?

О ненавистой работе к концу рабочего дня (когда уже томятся и ждут съема) обязательно шутят:

— Эх, только работа пошла, да день мал!

Утром же, вместо того чтобы приняться за эту работу, ходят от места к месту и говорят:

— Скорей бы вечер, да завтра (!) на работу!

А вот где видим мы перерывы в их логическом мышлении. Известное выражение туземцев:

— Мы этого лесу не сажали и валить его не будем.

Но если так рассуждать — леспрохозы тоже лесу не сажали, однако сводят его весьма успешно. Так что здесь — типичная детскость туземного мышления, своеобразный дадаизм.

Или вот еще (со времени Беломорканала):

— Пусть медведь работает!

Ну как, серьезно говоря, можно представить себе медведя, прокладывающего великий канал? Вопрос о медвежьей работе был достаточно освещен еще в трудах И. А. Крылова. Если была бы малейшая возможность запряхать медведей в целенаправленную работу — не сомневайтесь, что это было бы сделано в социалистическом государстве, и были бы целые медвежьи бригады и медвежьи лагпункты.

Правда, у туземцев есть еще параллельное высказывание о медведях — очень несправедливое, но вьвшееся: — Начальник — медведь.

Мы даже не можем понять — какая ассоциация могла породить такое выражение? Мы не хотели бы думать о туземцах так дурно, чтобы эти два выражения сопоставить и отсюда что-то заключить.

Переходя к вопросу о языке эзков, мы находимся в большом затруднении. Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае содержатся еще специфические трудности.

Одна из них — аггломератное соединение языка с руганью, на которое мы уже ссылались. Разделить этого не смог бы никто (потому что нельзя делить живое!)*, но и помещать все, как есть, на научных страницы мешает нам забота о нашей молодежи.

Другая трудность — необходимость разграничить собственно язык народа эзков от языка племени каннибалов (иначе называемых «блатными» или «урками»), рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдельная ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. Этот предмет достоин особого исследования, а нас здесь только запутала бы непонятная каннибальская лексика (вроде: ксива — документ, марочка — носовой платок, угол — чемодан, луковница —

* Только недавно некая Сталевская из села Долгодеревенского Челябинской области нашла путь: «Почему заключенные не боролась за чистоту языка! Почему организованно не обратились к воспитателю за помощью!» Эта замечательная идея нам просто в голову не пришла, когда мы были на Архипелаге, мы б ее эзкам подсказали.

часы, прохоря — сапоги). Но трудность в том, что другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваиваются языком эзков и образно его обогащают:

свистеть; темнить; раскидывать чернуху; кантоваться; лукаться;

филонить; мантулить; цвет; полуцвет; духовой; кондей; шмон; костыль; фитиль; шестерка; сосаловка; отрицаловка; с понтом; гумозница; шалашовка; бациллы; хилить под блажного; заблатниться; и другие, и другие.

Многим из этих слов нельзя отказать в меткости, образности, даже общепонятности. Венцом их является окрик — на цырлах! Его можно перевести на русский язык только сложно-описательно. Бежать или подавать что-нибудь на цырлах значит: и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием — и все это одновременно.

Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает! — особенно потому, что в жизни часто встречается подобное действие.

Но это попечение — уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на Архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этнографическом институте, — то есть не только в смысле отдела кадров, но: не отстал ли он от современного русского языка и хорошо ли будут его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, к которым привыкло его ухо на Архипелаге и которых так до сих пор не хватало русскому языку: «с ходу», «всю дорогу», «по новой», «раскурочить», «заначить», «фраер», «дурак, и уши холодные», «она с парнями шьется» и еще многие, многие!

Это означает большую энергию языка эзков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну и прежде всего в язык молодежи. Это подает надежду, что в будущем процесс пойдет еще решительней и все перечисленные выше слова тоже войдут в русский язык, а может быть, даже составят его украшение.

Но тем трудней становится задача

исследователя: разделить теперь язык русский и язык эзческий!

И, наконец, добросовестность мешает нам обойти и четвертую трудность: первичное, какое-то доисторическое влияние самого русского языка на язык эзков и даже на язык каннибалов (сейчас такого влияния уже не наблюдается). Чем иначе можно объяснить, что мы находим у Даля такие аналоги специфически-островных выражений:

жить законом (костромское) — в смысле жить с женой (на Архипелаге: жить с ней в законе); вынáчить (офенское) — выудить из кармана

(на островах сменили приставку — занáчить, и означает: далее спрятать); подходить — значит: беднеть, истощаться

(сравни — доходить); или пословица у Даля «щи — добрые люди» — и целая цепь островных выражений: мороз-человек (если не крепкий), костер-человек и т. д.

И «мышей не ловит» — мы тоже находим у Даля. А «сука» означало «шпиона» уже при П. Ф. Якубовиче.

А еще превосходное выражение туземцев упираться рогами (обо всякой упорно выполняемой работе и вообще обо всяком упорстве, настаивании на своем), сбить рога, сшибить рога — восстанавливают для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» (кичливость, высокомерие, надменность) вопреки пришлому, переводному с французского «наставить рога» (как измена жены), которое в простом народе совершенно не привилось, да и интеллигенцией уже было бы забыто, не будь связано с пушкинской дуэлью.

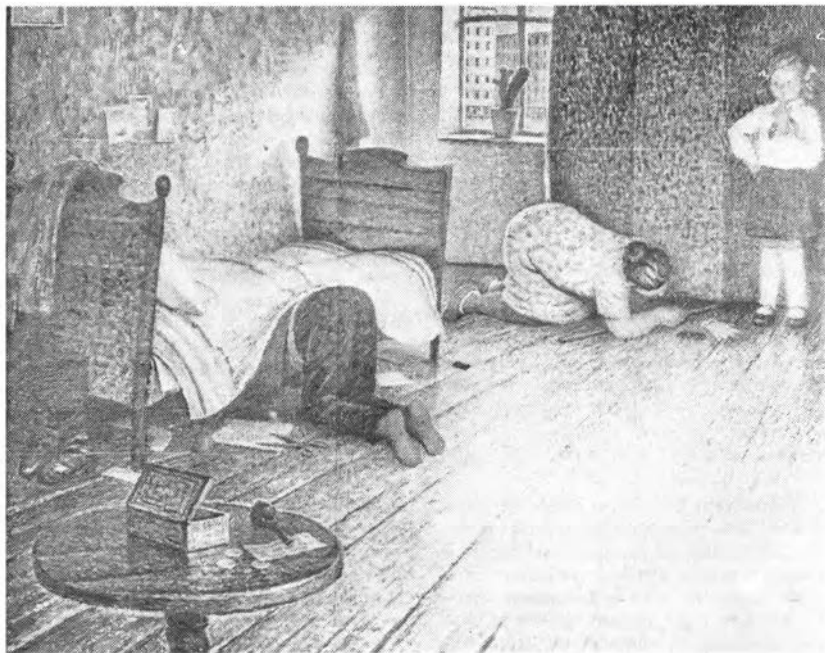
Все эти бесчисленные трудности вынуждают нас пока отложить языковую часть исследования.

В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов эзки вначале чуждались: они полагали, что эти расспросы ведутся для кума (душевно близкий им попечитель, к которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагоприятно и несправедливы). Убедясь, что это не так, к тому ж из разу в раз угощаемые махоркою (дорогих сортов

они не курят), они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах Укроп Помидорович, в других — Фан Фаныч. Надо сказать, что на Архипелаге отчества вообще не употребляются, и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одно-

временно в этом выразилась недоступность для их интеллекта смысла данной работы.

Автор же полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана; открыта в середине XX века совершенно новая никому не известная нация, этническим объемом во много миллионов человек.



Аусеклис Баушкеинекс. Большой поиск

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

КАКИЕ ДЕТИ ВРЕМЕНИ НАМ НУЖНЫ?

Штрихи к одной биографии

— Если глубоко рассмотреть, то я лично ни а чем не виноват. Так нас учили.

— Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником?

Из кинофильма «Убить дракона»

— Чего только сейчас на Арвида Яновича не велят. Он, мол, и миграцию затеял, и сельское хозяйство развалил. А это ужасное зрелище, когда на площади Латышских красных стрелков состоялась публичная гражданская казнь Арвида Пельше. К микрофону подходили какие-то люди и истерически глумились над ним. Под крики «ура» со стены Рижского политехнического института была сорвана и выброшена в Даугаву мраморная доска с его именем.

Не в первый раз слышу: «Пельше — латышский красный стрелок? Вы что-то путаете?» Но вот у меня документы. В Центральном архиве Советской Армии сделал выписку из журнала для регистрации полнотработников. В нем под номером 236 значится: «Пельше Арвид Янович, в партии с января 1915 года, членский билет № 208, командирован на фронт ЦИК Латвии, год рождения 1899, родной язык латышский, общее образование среднее, военное обучение — батальонная школа, боевой опыт — участвовал в боях под Ригой». И далее идут приказы и даты с окончательным назначением: латышская стрелковая дивизия; и по годам: борьба с махновцами, с бандами белогвардейцев. Думаю, достаточно! Зачем и кому надо на человека напраслину возводить? Больно... Если бы вы знали, каким он был, Арвид Янович Пельше!

Так на страстной полемической ноте начался наш разговор с рижским писателем, автором книги «Сестры Крустыньсо», — Николаем Николаевичем Крейером. В 1984 году он получил от Политиздата социальный заказ на книгу об Арвиде Пельше. С ним встречались сотрудники КПК, объясняли задачу: нужно, чтобы со страниц вставал яркий образ верного ленинца и пламенного революционера, прожившего свою жизнь, как подобает.

Книга написана и существует в трех экземплярах. Ее судьбу решило письмо на бланке того же Политиздата, но уже от 1986 года: к сожалению, имеет место творческая неудача, образ главного героя получился бледным, и посему примите заверения в совершеннейшем к вам почтении, но выйти в свет книга не может.

— Отговорки, — уверен Николай Николаевич. — Правда не нравится. Используя ставший нормой социалистический плюрализм, кое-кто позволяет себе искажать сущность истории, передергивать факты. Да, это трудно — заново обрести себя, но именно сейчас надо быть предельно честными, не шельмовать всё и вся. Я обязательно перепишу свою книгу. С учетом новых реалий разумеется, но переворачивать все с ног на голову не стану. И назову свой труд «Правда об Арвиде Пельше». Мы разговариваем дома у Николая

Николаевича (окна смотрят на площадь Стрелков). Документы, фотографии, книги с дарственными надписями многих известных людей. Не квартира — импровизированный музей. А экспонаты — веки долгой и нелегкой жизни. Отец — советский военачальник — арестован в 37-м, расстрелян в 38-м. Донос на отца, полный лжи и нелепых обвинений, Николай Николаевич потом обнаружил в целости и сохранности в архиве. Известно ему и имя верноподданного слуги, «сигнализирующего» о неблагонадежности своего начальника. Николай Николаевич сам прошел «чистилище» сталинских застенков в Ленинграде, на своей шкуре испытал побои, пытки.

Повезло невероятно: славный человек по фамилии Тизенберг передал письмо заключенного Крейера прямо в руки М. Калинин, который знал его отца. Многого тогда просить не смели — только права смыть кровью вину (только вот чью?). Воевал Н. Крейер в штрафном батальоне. После одного из боев под Витебском из 150 человек осталось 15. Среди оставшихся в живых был и Н. Крейер. Не раз он был ранен; стал инвалидом. Но ордена и медали клейма «сын врага народа» не отменяли. И хоть судимость снята, но тут новая беда — мать с братьями оказались в оккупации, и знакомые на всякий случай продолжают сторониться. В Ригу после войны вернулся, узнав случайно, что мать жива, здесь поступил в консерваторию: голос у Николая Николаевича и сейчас глубокий и бархатистый. Но разве угадаешь, откуда придет несчастье в обществе, где не уберечься от «всевидящего глаза и от всеслышающих ушей»? Знакомая девушка прислала письмо ему, но первым вскрыли конверт недремлющие кадровики (экая неосторожность — поверять бумаге сокровенное). Достаточно было упоминания о том, давнишнем аресте, и закружилась вновь изматывающая карусель — вкрадчивые вопросы, уклончивые взгляды еще вчера приветливых соучеников. Без боли не вспомнить то собрание, где его, пережившего лагерь и кровавые бои, разоблачали, клеймили, стыдили... Финал обычный — исключение. Восстановил Н. Крейера в партии со строгим выговором за сокрытие факта судимости Центральный Комитет Компартии Латвии.

— Нашлись люди, поверившие мне

несмотря ни на что. И среди них был Арвид Пельше. Мне, «прокаженному», он протянул руку помощи в 1948 году. Встретил в ЦК, пригласил к себе в кабинет и посоветовал: ты со своим «букетом» уезжай от греха. Я тогда и не знал, что и сам Арвид Янович переживает тяжелую драму — его первая жена Джемма Яновна Бем, цензор Ленинградского горлита, была расстреляна по приговору военного трибунала за участие в мифической латышской националистической организации. Реабилитирована и восстановлена в партии она посмертно. Я сразу же уехал в Краснодар.

— Николай Николаевич, вы и ваша семья жестоко пострадали от режима. У вас есть все основания ненавидеть сталинизм. И не странно ли, что вы столь страстно берете под защиту Арвида Пельше, верного служителя административной системы, который успешно миновал все рифы, разобрался в подводных течениях, набрал и удержал головокружительную высоту служебного положения при всех, столь разных генсеках. Его общественно-политическая деятельность началась в период первой мировой, закончилась же в 1983 г. Не мне вам рассказывать, чтоместили эти годы, и ясно — уцелеть можно было, лишь безупречно соблюдая все правила игры и умея предсказывать ходы, да и то, если крепко повезет. Вы не усматриваете внутреннего противоречия между вашей судьбой и судьбой Пельше? Откуда же такое желание изобразить его в как можно более привлекательном свете? Вы были хорошо знакомы с Арвидом Яновичем?

— Приятелем себя называть не вправе. Другое поколение все же, и виделись не слишком часто. Я дружил и до сих пор дружу с его дочерью. Сын Пельше, Арвид, погиб в боях за освобождение Курземе, орден Красной Звезды он получить не успел. В составе 2-го Белорусского фронта воевала дочь — Бирута Арвидовна. Она и передала мне письма отца — к ней, к брату, адресованные Арвиду Яновичу послания многих латышских писателей — Упита, Судрабалкиса, Лациса, бесценный материал для книги. А с отцом моим, Николаем Карловичем Крейером, они были в дружеских отношениях, познакомились, когда А. Пельше учился в Институте красной профессуры в Москве в 30-е годы.

— Пойдите, Николай Николаевич! Арвид Янович знал вашего отца, знал вас, и все-таки единственное, что он мог сделать, — это посоветовать вам уехать из родных мест!

— А что еще? Он и сам постоянно находился под угрозой ареста. Вторая жена Пельше — Лидия Алексеевна Логинова рассказывала, что и они не чувствовали себя в безопасности, вздрагивали по ночам от шагов по лестнице. Такое было время. . .

Когда Пельше умер, то практически ничего не осталось, кроме книг, и то в основном дареных. Ни дачи, ни машины, все было казенное. По заданию партии переезжая из города в город, скитались с семьей по гостиницам, по квартирам. Было трудно, но он сам воспитывал детей в своей второй семье, когда Джемма Бем была репрессирована, хоть расстались они раньше.

В денежных делах он был исключительно щепетильный человек. Никогда не позволял за себя платить.

— На разных ступенях общественной иерархии и критерии щедрости другие. Бескорыстие многих общественных деятелей — часто оборотная сторона полного и пожизненного благоденствия. Ведь квартира, обед, отдых — все это было казенным, не стоило ни гроша, ни забот. Да и родственникам, не только Пельше, разумеется, полагалось и посейчас полагается материальное вознаграждение за честь состоять в высоком родстве.

— Собирая материал о жизни Арвида Яновича, я много ездил по стране; встречаясь с людьми, записывал воспоминания. О нем все были самого лучшего мнения. Сотрудники Комитета партийного контроля рассказывали П. Рыбальченко, бывшему председателю партийной комиссии при ЦК Компартии Латвии: «Раньше для председателя комитета был отдельный лифт. Его в лицо-то за день, а то и за несколько дней не увидишь. Как только пришел Арвид Янович, он все это поломал. Поднимаясь в одном лифте с нами, разговаривает, спросит о здоровье. Вместе со всеми отменялись праздники: соберет аппарат комитета, поздравит, поставит задачи, очень кратко, но метко подметит имеющиеся, по его мнению, просчеты в работе отдельных звеньев».

Его отношение к женщинам было исключительно деликатным, никогда не сядет первым в их присутствии. Ни-

когда голоса не повысит. Не позволял себе крепких слов. Я тут читал стенограмму пленума ЦК Компартии Латвии 1959 года, и для меня была полная неожиданность, что вдруг Арвид Янович сказал: черт побери. Это редчайший случай. Дома он тоже всегда был вежлив, деликатен, хотя я подозреваю, что он был одиноким человеком в последние годы.

— Вы часто бывали у них?

— Бывал. Очень приятный дом. О работе Арвид Янович никогда не говорил, все проблемы оставлял за порогом, смеялся, шутил. Цветы — вот что он больше всего любил. Он сам за ними ухаживал, переписывался со многими цветоводами. Очень их ценил и часто помогал, чем мог. Дома у него была целая коллекция кактусов — более 200 видов. Где бы он ни жил, даже в гостиницах, дома у него всегда стояли полевые цветы. Когда он уезжал, то всегда подробно инструктировал помощника — какое растение как надо поливать.

Вот фотографии — Пельше в саду. Магнолии цветут, даже абрикосы у них росли, можете представить, какого труда это требовало. И дачка у семьи, кстати, была скромная, ухоженная — в Юрмале, на Падомья, 24. Не то что сейчас хоромы возводят.

А теперь и об этом невинном хобби отзываются пренебрежительно. Джемма Скулме на пленуме творческих союзов сказала: «любитель цветов и фарфора». Насчет фарфора к тому же неточно. Это двоюродный брат Арвида Яновича — Рудольф Пельше — был знатоком фарфора, профессором кафедры керамики Академии художеств. Он был арестован в 1942-м, умер в тюрьме города Петропавловска. У меня есть фотография — Рудольф Пельше в мастерской скульптора Теодора Залькална, он был дружен с ним.

— Кстати, говоря, что его имя не упоминалось, а труды не публиковались, поскольку «сверху» было наложено вето. Кому-то не хотелось, чтобы фамилия «буржуазного» ученого звучала вслух. Давайте пролистаем вашу рукопись. Начинаете вы, я вижу, с прошлого века. . .

— Да, мне удалось «раскопать» упоминание о роде Пельше времен наполеоновского нашествия. Дальние предки Арвида Яновича, землепашцы, были партизанами. С тех пор хранится в семье реликвия — настенные часы

ручной работы, подобранные в снегу при нападении на вражеский обоз. Кажется, вкус к прекрасному всегда был присущ Пельше. Его мать Лизетта была прекрасной ткачихой. Арвид Янович долгие годы курировал вопросы культуры, будучи секретарем ЦК по идеологии. У него были прекрасные личные отношения с Упитом, Судрабкалнсом. Они советовались с секретарем по самым тонким вопросам своего творчества, а он отвечал подробно, собственной рукой вносил поправки. Андрей Упит признавался: «Твои замечания для меня всегда важны, и с ними я всегда считаюсь». Он и с просьбами обращался к Пельше — насчет увеличения тиража романа «Просвет в тучах».

— Недавно стал достоянием гласности такой эпизод: в «Цине» появилась критическая рецензия на роман Лациса «К новому берегу». Написана она была по прямому указанию Пельше, тогдашнего секретаря по идеологии. Остается только гадать — почему он не захотел сам появиться на авансцене, а поручил критику тогдашнему первому секретарю Лиепайского горкома. Опасался выступить против признанного корифея, для чего и был использован излюбленный прием — критика снизу? Дальнейшие события показали, что осторожность не была излишней. Вскоре «Правда» выступила со статьей в поддержку Лациса. За скромной подписью «Группа читателей» был верно угадан С.А.М. — Иосиф Сталин. Как, по вашему, что скрывалось за этим? Какая политическая игра была пресечена в самом начале?

— Я думаю, речь шла о том, чтобы указать, по возможности деликатно, писателю на его недостатки. Общение с писателями научило этому. Пельше дружил с Алексеем Сурковым, Исаковским. В дружбу переросло его знакомство с главным дирижером Большого театра СССР Мелик-Пашаевым. Надо сказать, что Арвид Янович профессионально разбирал то или иное музыкальное произведение, он много читал, хорошо понимал стихи, всегда бывал на премьерах.

Композитор А. Жилинский рассказал, что зимой 1953 года его, Маргерса Зариньша и Скулте пригласили в ЦК партии к Пельше побеседовать о творческих планах. Зариньш как раз собирался писать оперу по роману Вилса Лациса «К новому берегу», Жилинский — оперетту на несложный, но

очень важный сюжет. На границе трех республик возле озера Дрисвяты строится электростанция. Арвид Янович был на премьере, хвалил авторов. Вот так он вникал в творческий процесс. Но, конечно, он был безоговорочно за социалистический реализм. Безыдейности, бездуховности в творчестве не терпел. И выше всего ставил партийность. Без нее, мол, художнику нельзя творить.

Постановления ЦК КПСС 1946—1948 годов о культуре сегодня частью отменены, частью пересмотрены. Но тогда они сыграли свою роль, мобилизуя творческую интеллигенцию на создание глубоко идейных произведений в духе реализма. А Пельше всегда боролся против преклонения перед Западом, национальной ограниченности. Зато развились связи с Советским Союзом. Художник Налбандян приезжал, Пельше его тепло принимал, беседовал. Он выступал на I съезде советских писателей Латвии с призывом — избавляться от сентиментальности, слащавости в творчестве, показывать реальную жизнь.

— Простите, я вынуждена говорить банальности. Но ведь попытки загнать искусство в определенные рамки — занятие абсурдное. Искусство не поддается регламентированию, и благодаря «принципиальности» чиновников от культуры за бортом официального признания остались многие писатели и поэты. А мы с вами лишились стихов, романов, фильмов, и кто подсчитает, насколько это задержало наше духовное развитие. А долг у литературы один — учить человека быть человеком, отличать добро от зла.

— Арвид Янович был верным ленинцем. Он служил идее, которую выбрал в юности.

— Наверное, это порой граничило с догматизмом?

— Возможно. Но такой он был человек. Чтобы понять, как складывался его характер, надо хорошо знать его биографию, а не придумывать ее, как это сделал некто Алкснис, автор статьи в «Падомью яунатне»

Родился Арвид Янович в 1899 году, недалеко от Вецумниек, в усадьбе «Мазайс». Дом — полная чаша, но все работало как заводные, с утра до вечера. Арвид, второй сын в семье, с шести лет пас гусей. Детей дома любили, баловали. Потом в дом ворвалось горе — отец, возвращаясь из гостей,

попал в полыню и утонул. Молодой еще был — 41 год. Мать так больше замуж и не вышла, тянула дом, троих детей одна. У нее поселилась помощница — вдова революционера-боевика, убитого во время событий 1905 года в Риге. Ее дочь Джемма стала впоследствии женой Арвида Яновича. Но это было потом, а пока они вместе ходили в школу. В возрасте пяти лет Арвид свободно читал и писал, знал русский язык, понимал по-немецки. Заглядывал в учебники старшего брата, читал, как роман, историю, географию. Отсюда берет начало та страсть к самообразованию, которая не оставляла Пельше всю жизнь.

— Сам из крестьян, Арвид Пельше не мог не знать, что отнюдь не социально опасных кулаков выселяют из Латвии в канун войны. В основном в эшелоны грузили крестьян, так же, как его мать, не разгивавших в поле спины. А он был в составе руководства республики, рядом с небезызвестным Ножиком. В своей речи 15 марта 1941 года на собрании работников народного образования Риги Пельше говорит об успехах в строительстве социализма, блестящих перспективах. А рядом Россия тонула в крови, вся в железных оградах лагерей. А впереди, через три месяца — война.

— Это был человек, фанатично преданный идее. Когда Арвид 15 лет от роду приехал в Ригу и поступил на курсы инженеров Яниса Озолина, он вскоре отказался от помощи матери, не хотел принимать даже продукты из дому. Пошел работать в мастерскую, где делали ящики для консервного завода. Переехал в комнатушку по своим скудным средствам. Брат приезжал из дому, уговаривал бросить работу, но тщетно. Тогда или раньше разошлись их пути? Братья его были сугубо сельскими людьми, оба агрономы. Младший Янис умер в 1937 году, его дочь Мелита и сейчас работает врачом в одной из рижских больниц.

— На пленуме ЦК Компартии Латвии 1954 года, стенограмма которого недавно опубликована, страстно обличают пособников буржуазных националистов, тех, кто имеет какие-то связи с границей. Имя Арвида Яновича в этой связи не звучало. А говорят, его брат Юлий, состоятельный хуторянин, которого обошла депортация, был в айзсаргах? Не потому ли А. Пельше

не любил рассказывать о своих родственниках?

— Это выдумка. Высокообразованный сельский труженик, земледелец. Судьба его сложилась непросто. Немцы погрузили его, как и многих латышей, на баржи, теплоходы. Так Юлий Пельше оказался в американской зоне Германии, а затем и в США, мать же там, на чужой земле, вскоре умерла, похоронена под Лейпцигом. А брат Арвида Яновича приезжал в Союз, хотел повидаться с братом, но тот не пожелал его видеть. Но я отлежусь.

С 15 лет Арвид, самый младший на инженерных курсах, стал заниматься в марксистском кружке «Атвасек» при вагонзаводе. Уже тогда листовки расклеивал, в митингах участвовал, выступал перед солдатами в эшелонах, идущих на фронт.

Фабрика, на которой работал Пельше, во время первой мировой эвакуировалась в Витебск, Пельше и там вел пропагандистскую работу; его высладили, пришлось перебраться в Харьков — вести работу среди эвакуированных латышей. Надо было устроиться на работу — фрезу освоил за две недели.

В канун Революции переехал в Петроград. Работа в респираторной мастерской не мешала жить напряженной духовной жизнью — Арвид был избран членом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, вместе с латышским районом участвовал в стачке. В эти годы сложилась его манера общаться с людьми, проявились ораторские способности.

— Записи этих бесед, естественно, не сохранились. А вот речи, опубликованные в сборнике «Путем борьбы и созидания», читать скучно. Взгляд скользит не задерживаясь на общих фразах, стандартных формулировках. Немало речей произнесено Арвидом Яновичем на разного рода юбилеях. Они похожи, как близнецы — восхваление успехов, как теперь известно, мнимых, слегка, как перчиком, дежурное блюдо приправлено критикой. Новое? Оригинальное? Я ничего не нашла.

— А вот в Архангельске о Пельше отзываются хорошо. Недаром его выбрали делегатом VI съезда РСДРП от Архангельской парторганизации. Тот самый исторический съезд, на котором решался вопрос о вооруженном восстании. Арвид Янович был среди тех,

кто сразу понял и поддержал Ап-рельские тезисы, идею перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Из Петрограда он уехал за день до приезда туда Ленина. Неотложные дела звали в Архангельск. Грузчик — это была только «крыша», на самом деле Пельше был пропагандистом.

Потом Москва, работа в московской ЧК, встречи с Дзержинским. В 1919 году, когда в Латвии произошла революция, Арвид Янович возвращается домой. Он — ответственный секретарь комиссариата строительных и общественных работ (был тогда такой). И, кстати, уже тогда родился замысел строительства ГЭС на Даугаве. Спустя годы он был реализован — строительством Плявиньской гидроэлектростанции Пельше особенно интересовался. С 1919 по 1929 год он служит в армии и на флоте.

— Признаюсь, меня поразил приведенный в вашей рукописи документ: копия почто-телеграммы латышского запасного батальона, в котором Арвид Пельше служил комиссаром. Вот что там сказано: «14 июня (1920 год) отряд запбата выступил для производства репрессии по отношению к жителям села... Крестьянам предложили ультиматум о сдаче в двухчасовой срок всего оружия и наложения на них контрибуции». И дальше идет перечисление количества расстрелянных, подожженных домов, выпущенных снарядов. По поводу этого отчета о проделанной работе вы резюмируете кратко: гнездо махновцев уничтожено. Сегодня вы написали бы так же?

— История оказалась намного сложнее, чем мы думали. Вправе ли мы судить сегодняшними мерками? Эта акция была ответной на уничтожение латышских стрелков. Пельше всегда выполнял свой долг. В мае 1933 года он вместе с женой был направлен в Актюбинскую область, в Казахстан. Арвид Янович — начальником политотдела совхоза, а его жена — редактором многотиражной газеты. Нелегко ему было, уже давно горожанину, верхом ездить по полям, добираясь до горных пастбищ, до самых отдаленных ферм. Много было подозрительных случаев падежа скота, пришлось разоблачать вредителей.

— Политотделы для того и создавались в хозяйствах при МТС, чтобы форсировать сталинскую коллективиза-

цию, держать в узде непокорных, причать к единомыслию. Это был опорный элемент складывающийся и уже костенееющей бюрократической системы. Пельше отработал в Казахстане почти 4 года.

— Мне удалось отыскать протокол собрания тех лет. Вот строки из постановления — устроить при каждой ферме баню, открыть парикмахерскую, швейную, сапожную мастерские. За ними — забота о людях. А это выписка из плана работы политотдела на июль 1933 года: мероприятия по усилению темпов и улучшению качества уборки, проверка готовности ферм к уборке, хода случной кампании, проверка состава специалистов по классовому признаку и квалификации. Пельше был участником I Всеказахстанского слета ударников животноводства, занимал почетное место в президиуме. В эти же годы началась его дружба с казахским писателем Мухтаром Ауэзовым.

— По итогам очередной проверки партийных документов Пельше оценили так: активно боролся с антипартийными группировками и оппозициями. По-большевистски осуществлял генеральную линию партии. В 1935 году он пишет докладную записку с характерным названием: «Об оппортунистической позиции начальника политотдела имярек по вопросам весеннего сева...»

— Да, и подобные проявления оппортунизма были не единичны. Понадобилось немало мужества, принципиальности, чтобы сорвать попытки затягивания сева. Бюро Алма-атинского обкома ВКП (б) прямо указало товарищу Пельше на необходимость принять немедленные и исчерпывающие меры к прекращению саботажа посевной. Пришлось помотаться на газике по хозяйствам. Бывало и такое, что он, тогда начальник политотдела животноводческого треста, обнаруживал у пропагандистов полное незнание вопросов борьбы с оппозицией. Словом, было трудно.

С работой и на этом порученном участке Пельше справился. Иначе бы в 1937 году его не отозвали в Москву на должность заместителя заведующего сектором мясомолочных совхозов в Политуправлении. Тогда же началась преподавательская работа Пельше — читал основы марксизма-ленинизма в Московском институте усовершенствов-

вания ИТР Наркомата боеприпасов. В 1940 году стал доцентом.

Знакомые рассказывают, что жил он по строгому режиму, который оставался неизменным в течение многих лет. Не терять ни минуты даром, не опаздывать — все эти качества свойственны людям, постоянно находящимся в цейтноте. Он сам о себе говорил: «У меня отработана система, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность... каждое утро 20—25 минут занимаюсь гимнастикой, после чего — холодный душ». После обеда — сорокапятиминутный отдых. Вечером же он работал сколько понадобится, часто допоздна.

Арвид Янович всегда выполнял то, что ему поручали, точно и безукоризненно. Конечно, можно сейчас спорить, осуждать его — почему, мол, не возражал против строительства такого количества промышленных предприятий, которое республике явно не «переварить». Но что бы это дало? На его место тут же нашли бы кого-нибудь другого.

— Долгая жизнь была у Арвида Яновича. И линия его судьбы проходит через множество болевых точек истории, отношение к которым меняется. «Яблоком раздора» остаются события 1940 года. Революция или оккупация — вот диапазон оценок. Революция, которую не заметили сами подпольщики? Ультиматум Советского правительства, миссия Вышинского в Риге — не слишком ли много противоречий с официальной версией? Как оценивал 1940 год А. Пельше? Неужели его ничего в них не смущало? Какова его роль в этих событиях?

— Арвид Янович представлял себе Латвию только социалистической, и поэтому революцию воспринял однозначно. В октябре он прибыл в Ригу, в январе стал секретарем ЦК по пропаганде. Лидия Алексеевна стала работать редактором Латвийского телеграфного агентства. После двадцатипятилетней разлуки Пельше встретился с матерью.

Работы хватало. Надо было преодолеть буржуазные пережитки в сознании людей. Требовалась огромная воспитательная работа. Нужно было привлекать к работе лояльно настроенных специалистов, и в то же время растить новую интеллигенцию. Арвид Янович много выступает с речами, его всегда тепло принимают. Печать, радио под его непосредственным руковод-

ством становятся пропагандистами новой жизни, правильно освещая строительство коммунистической Латвии.

Война застала его в Риге. Правительство Советской Латвии отступает вместе с советскими войсками. Пельше направляют в Таллинн, где он руководит формированием отошедших на территорию Эстонии бойцов рабочих батальонов. Отсюда войска отправлялись на фронт.

Во время войны деятельность Компартии Латвии продолжалась. Часть членов ЦК находилась в Красной Армии, в партизанах, поэтому созвать пленум возможности не было и все вопросы решало бюро. В него входили А. Пельше, В. Лацис, А. Новик и другие.

Пельше часто выступает по радио, ведет передачи на оккупированную Латвию. Он руководит курсами по подготовке советских и партийных работников в Кирове, организует помощь раненым латышам и их семьям. В сентябре 1944 года правительство республики переезжает в Даугавпилс, а 13 октября, в день освобождения Риги, когда саперы еще разминировали здания, в столицу вместе со штабом 3-го Прибалтийского фронта прибыли ответственные партийные и государственные работники. А. Пельше остается секретарем ЦК. Сразу после войны выходит его брошюра «Буржуазные националисты — злейшие враги латышского народа». В это же время он пишет статьи. О чем? Об этом говорят их названия: «Интересы государства превыше всего», «Строительство социалистической культуры Советской Латвии».

— Николай Николаевич, извините, но создается впечатление, что первая часть книги написана ярче, с теплом и множеством деталей. А дальше — скороговорка, общие фразы. Не потому ли, что линия партии, за которой следует А. Пельше, все дальше отклоняется от первоначальных целей? Воллей-неволей рождается вопрос: а чем уж так угодил Арвид Пельше Иосифу Виссарионовичу, что его кандидатура вопросов не вызывала? Сыграла ли свою роль подозрительность «отца народов», многократно усиленная по отношению к тем, кто был на оккупированной территории, пусть даже сражаясь против фашистов с оружием в руках? Мы знаем, что значили тогда выборы, и отсюда вопрос: что же устраивало вождя в марксисте еще дореволюционной заправки? Согласны ли

вы с оценкой, которую дал Арвиду Пельше тогдашний второй секретарь ЦК Компартии Латвии В. Круминь? Он писал, что характер Арвида Яновича был деформирован сталинизмом так, что ему ничего не составляло отказаться от своих взглядов из желания угодить сильному? И в какой момент, как по-вашему, эта перемена произошла?

— Я против такой постановки вопроса. Арвид Янович был цельным человеком, хотя, конечно, сыном своего времени.

— Сегодня нам легко судить. Страшно себе представить, каким прессом давила на человека угроза оказаться в застенках или предстать перед не знающим жалости судом. Так что в этот период многие совершали несвойственные им поступки. Но потом был XX съезд, возможность распрямить спину, вытравить страх. Вот тут-то люди и раскрылись.

В выступлениях А. Пельше тех лет XX съезд упоминается вскользь. Случайность? Едва ли. Весть ход событий доказывал — идея восстановления исторической правды, справедливости руководство республики не окрылило. Здесь после 1956 года не делалось ничего для того, чтобы отмыть имена невинно репрессированных. Возвращались они тихо, незаметно, идеологи заботы о жертвах сталинизма не проявляли. В докладе Хрущева прямо говорилось о пострадавшем от культа В. Кнорине, но Пельше, лично знавший его по Институту красной профессуры, как и многие другие члены ЦК не проявили никакой инициативы для того, чтобы увековечить его имя. Когда же в 1957 году ЦК осудил деятельность Молотова, Пельше вслух говорил, что продолжает ему верить. Поэтому, как вспоминают очевидцы, и было предложено — исключить Пельше из членов ЦК, как «молотовца». Так что он далеко не всегда безропотно подчинялся указаниям свыше. За развенчание сталинизма ему братья явно не хотелось. В защиту сталинского социализма и был дан бой в июле 1959 года. У вас этот период опущен.

— Я только взялся за изучение стенограммы пленума ЦК Компартии Латвии. Но, уверен, он не имел того значения, которое ему сейчас приписывают.

— В журнале «Карогс» опубликованы воспоминания очевидцев событий

тех лет. Все они уверены: исход пленума predetermined остроту сегодняшних проблем республики. Новые, после XX съезда, веяния предъявили иные требования к партийным и государственным деятелям. Искусство выполнять распоряжение вот-вот могло перестать быть высшей доблестью. В цене поднимались инициатива, предприимчивость. Отсюда и конфликт — между людьми старого и нового склада. Водораздел прошел не по возрасту, не по национальности. По сути, шел спор между приверженцами разных моделей социализма — централизованно-бюрократической и аналога нынешнего хозрасчета. Наивно думать, что приди к власти иные люди, они смогли бы предотвратить застой. Но смягчить его последствия, как в Литве, смогли бы, несомненно. Не случайно именно после 1959 года Латвия стала отставать от соседей.

— Ну, в Литве был Снечкус, незаурядная личность.

— И у нас был экономист П. Дзерве, разработавший схожую с сегодняшней модель хозяйственного развития республики, и А. Никонов, министр сельского хозяйства, ныне президент ВАСХНИЛ, уже тогда возражал против форсированных посевов кукурузы. Беда в том, что верх тогда взяли другие, и, как это всегда бывает в недемократическом государстве, исход борьбы решили не аргументы, не польза дела, а искушенность в закулисной игре.

В республике незадолго до приезда в нее Н. С. Хрущева побывала некая комиссия из ЦК, в составе которой кураторов Прибалтики не было. Фальсифицированные данные о засилии «националистов» попали к Хрущеву, вызвали его гнев, что дало повод начать «охоту на ведьм». И сделали это, как считают очевидцы, Я. Калнберзин и А. Пельше. Можно только предполагать, что они опирались на кого-то из московских противников курса обновления. Финал печален: от руководства республикой была отстранена целая плеяда светлых голов — 11 членов ЦК, 22 депутата Верховного Совета, 10 бывших секретарей ЦК. Их не расстреляли, нет, это уже не практиковалось, но лишили работы, выслали из Риги, оставили семью без крыши над головой. Параллель с 37 годом напрашивается сама собой.

— В самом деле, стенограмма доказывает, что все ссорились, шумели.

Но Арвид Янович произнес очень сдержанную, самокритичную речь. Он не снимал с себя как с секретаря вину за то, что просмотрел проявления буржуазного национализма.

— Кого обвиняли в национализме? Подпольщиков, прошедших войну, ветеранов. И за что? Пельше упрекнул, например, Берклава за то, что он оставил в книге отзывы Рундальского замка запись: необходимо как можно скорее его восстановить. Националистами называли и тех, кто ратовал за введение бесплатных учебников в начальной школе — это было понято как попытка предоставить преимущества латышским детям. Их тогда в Риге было больше, чем русских.

— Арвид Янович был интернационалистом. Он не мог понять этого желания отсидеться в национальной крепости. Но народные святыни были ему дороги. Вот что он пишет: «Даугава для латышей — то же самое, что для русских Волга, для украинцев — Днепр, — символ матери-Родины».

— Однако, с какой готовностью в жертву прогрессу был принесен Стабурагс — святое для латышей место. Тридцать лет прошло с тех пор, как он скрылся под волнами рукотворного моря, а рана болит, как можно было этого не чувствовать? Защитников Стабурагса уже привычно окрестили националистами. Не забудем: именно при Пельше двуязычие стали понимать как необходимость для латышей знать русский. И не более того. Он приложил руку к тому, чтобы закрыть в печати дискуссию о младолатышах, которые в конце прошлого века во весь голос заявили о латышах как о народе. Был вычернут из официального календаря праздник Лиго, из истории имена неугадных латышских писателей. Из университета был «вычищен» известный лингвист Эндзелин. В. Калпий, тогдашний министр культуры, вспоминает, что когда в Домском соборе устраивали концертный зал, именно А. Пельше распорядился вынести оттуда алтарь, другие предметы церковного обихода. Только по счастливой случайности все это уцелело. После 1959 года культура переходит на «остаточный» принцип распределения средств. Латвия становится все менее латышской, все менее республикой, все более губернией во исполнение сталинского плана «автономизации». Сегодня можно неоднозначно сказать: в Латвии в 1959 году

имела место «репетиция» отхода от решений XX съезда — того, что позже произошло во всей стране.

— Когда в 1966 года Пельше возглавил Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, он вел большую работу, оставаясь неподкупным коммунистом. Об этом периоде его деятельности мне известно не много. Буквально по крупицам собираю сведения. «Известия» недавно писали о том, что он пытался встать на пути узбекской мафии. В журнале «Искусство кино» за этот год нахожу упоминание: после личного вмешательства Пельше было снято партийное взыскание с режиссера фильма «Комиссар». Очевидцы рассказывают, что с приходом Арвиды Яновича в КПК стали рассматриваться более серьезные вопросы, заслушиваться отчеты крупных руководителей. Рассказывают, что он строго пожурил внучку Свердлова за связь с рядом лиц, взятых под стражу за злоупотребление служебным положением, в частности с бывшим министром торговли Узбекистана. Уверен, и там он оставался неподкупным человеком.

— А вот И. Пинкис, председатель совета профсоюзов республики, вспоминает, что тщетно они пытались обратить внимание ЦК на то, что тогдашний первый секретарь Кировского райкома партии берет взятки, — и без результата. Потом его передвинули на пост председателя Гостелерадио и уж оттуда, весьма не скоро — взяточник попал под суд.

... Прах Арвиды Яновича Пельше, дважды Героя Социалистического Труда, покоится в Кремлевской стене. Даты жизни: 7.11.1899 — 29.V.1983.

Вспоминаются слова Сергея Залыгина: «Античеловечно положение, при котором человек честно выполняет свой долг служебный, даже и тогда, когда этот долг сам по себе никому не приносит пользы, больше того — приносит вред. Эта честность, приложенная к бесчестности, есть величайшее из издевательства, которое люди сумели придумать для себя и своего здравого смысла». Горько...

* * *

После того как материал этот был завершен и перечитан, стало ясно, что он обрел еще одно измерение. В нем появился еще один герой — рассказчик, Николай Николаевич Крейер. Откажемся от радикальных формулиро-

вок, не будем называть его ни «пришпешником», ни «апологетом». История прошла по нему тяжелым колесом, но он сохранил верность идеалам своей эпохи. Шаг за шагом прослеживая жизнь своего героя, рассказчик не замечает, что он уже не столько биограф, сколько «агиограф», то есть создатель нового варианта «жития святых» — под его пером Пельше приобретает черты едва ли не небожителя, не знающего, что такое ошибки, слабости и заблуждения. Конечно, подлинный Арвид Янович Пельше не имел ничего общего с этим сусальным обликом. При всей его внешней интеллигентности, он был виртуозным аппаратчиком, умеющим за день до смены погоды учуять, куда ветер подует, умеющим беспрекословно взять во фрунт — «чего изволите» и обрушить жестокий удар на тех, кто не вписывался в мир всеобщей жесткой регламентации.

Но человек, выросший в той же системе ценностей, не может, не в состоянии увидеть всей пугающей противоречивости облика Пельше, и он тщательно выбирает из всей мозаики событий лишь то, что играет на руку создаваемому им образу. Глупо предположить, что Пельше не понимал, к чему приведут Латвию интенсивное развитие промышленности, неконтролируемая миграция, не знал, что такое для латышей Стабурагс. Но из всех событий, связанных с пленумом 59 года, который стал для Латвии ее «37 годом», рассказчик нашел лишь одно, за что можно мягко упрекнуть Пельше — он, видите ли, не сдержался и

позволил себе разное выражение «черт побери».

Трагизм поколения Пельше и его биографа состоит в том, что оно совершенно естественно жило в двух мирах, двойной жизнью и считало это нормой бытия, не представляя, что можно существовать и по-другому. И поэтому рассказчик с одинаковой ноткой умиления пишет о трогательном увлечении Пельше цветами, о которых тот не забывал даже в отъездах, и о холодном бесчеловечном отказе увидеться со своим братом, отъезде, за которым стоял элементарный страх. О «мудрых» указаниях писателям и подловатенькой игре с Вилицом Лацисом, которого он хотел устранить чужими руками, подставляя под гнет Самого рядового партийного функционера.

В романе «Человек, который смеется» Виктор Гюго описывал, как компрачикосы, похищая маленьких детей, заставляли их расти в глиняных кувшинах, откуда те выходили изуродованными на всю жизнь, но их искривленные позвоночника и вывернутые конечности позволяли им существовать в том мире — они служили шутами при дворах, им подавали милостыню...

Для поколения Н. Н. Крейера Арвид Янович Пельше был и остался олицетворением той системы координат, которая сформировала их и дала возможность комфортного существования.

И не надо забывать, что глиняные кувшины хотя и треснули, но еще не рассыпались...

Вадим РУДНЕВ

«НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН»

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА В КУЛЬТУРЕ XX СТОЛЕТИЯ

Т. М.

Ich stelle mir vor...

Max Frisch. «Mein Name sei Gantenbein»¹

Издавна считалось, что собственное имя связано какой-то мистической связью со своим носителем. Наиболее точно этот взгляд выразил русский поэт XX века Арсений Тарковский:

А ну-ка Македонца или Пушкина
 Попробуйте назвать
 не Александром,
 А как-нибудь иначе! Не пытайтесь.
 Еще Петру Великому придумайте
 Другое имя! Ничего не выйдет.

Встречался вам когда-нибудь
 юридивый,
 Которого не называли Грншей?

С логической точки зрения, такое тесное соединение имени с его носителем происходит потому, что собственное имя связано с предметом непосредственно, оно не обозначает его через сеть признаков подобно нарицательным именам или выражениям (дескрипциям), а закрепляется за ним по произволу. Предмет или человек нарекается именем. Этот акт наречения является (во всяком случае, по своему происхождению) сакральным. В христианской традиции человека называли именем святого, который отныне считался его покровителем. Два человека, случайно названные

одним именем, уже по одному этому становились связанными друг с другом (они тезки), хотя на самом деле между ними могло не быть ничего общего.

Логика имени — это логика мифологического мышления. Ведь имя собственное в отличие от любого имени нарицательного (будь то стул или социализм) не означает класса предметов, а означает только один предмет, именно тот, который назван данным собственным именем. Имя Иван не может означать класс людей, которых зовут Иваном, так как нет таких признаков, которые объединяли бы индивидов, входящих в этот класс, кроме того, с логической точки зрения случайного факта, что их всех зовут одним собственным именем, что каждого из них нарекли при крещении «Иваном». В мифологическом сознании каждое слово стремится к тому, чтобы стать именем собственным², так как для мифологического сознания вообще нехарактерно абстрагирование, проявлением которого является объединение предметов в классы. Так, условно говоря, в мифологическом сознании не может быть абстрактного понятия «стол», пригодного для любого стола, а слово «стол» будет обозначать каж-

¹ Я представляю себе...
 Макс Фриш. «Назову себя Гантенбайн»
 [нем.].

² Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Миф — имя — культура. — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 306. Труды по знаковым системам, т. 6, 1973, с. 282—303.

дый раз новый стол и поэтому будет стремиться к тому, чтобы стать именем собственным Стол. (Ср. в «Младшей Эдде»: «Он достает бурав по имени «Рати», что означает «бурав по имени «Бурав»³). Каждый предмет для мифологического сознания уникален и в то же время связан с другими, с нашей точки зрения совершенно не связанными с ним предметами, по смежности, метонимически, или, говоря термином французского этнолога Люсьена Леви-Брюля, через партиципацию, то есть сопричастие⁴. Поэтому в мифологическом сознании наличие имени у предметов гораздо важнее, чем наличие у него каких-либо внутренних свойств, более важных с нашей немифологической точки зрения. Но и в современном сознании, как известно, черты мифологического мышления весьма развиты. Если ребенка называют именем отца или деда, то тем самым производят ритуальный акт перенесения вместе с именем на ребенка дорогих черт умершего родича. Когда человека называют, например, Максим, то тем самым актуализируют этимологическую основу этого слова, его внутреннюю форму — которая означает «великий»; каждая Татьяна по-прежнему ассоциируется с пушкинской Татьяной.

В искусстве и культуре XX века многие черты мифологического мышления и миропонимания становятся одной из определяющих черт его эстетики⁵. Соответственно повышается и трансформируется по сравнению с позитивистской эстетикой XIX века роль и осмысление собственных имен (хотя, конечно, и в XIX веке, в особенности, у Достоевского имя героя наделялось чертами, связывающими его с неомифологическим мышлением⁶). Так, например, в романе Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества» героев мужчин всех поколений зовут либо Аурелиано, либо Хосе Аркадио, за счет чего создает-

ся впечатление, что речь идет об одном и том же герое, умирающем и воскресающем в соответствии с мифологическим представлением о времени.

Приблизительно тот же эффект, но в сниженно-бытовом ракурсе мы наблюдаем в «Cage о Форсайтах» Дж. Голсуорси, где сыновей и внуков называют именами отцов и дедов. В результате появляется цепочка вроде — старый Роджер, молодой Роджер и очень молодой Роджер, причем «очень молодой Роджер» к концу повествования предстает весьма пожилым джентльменом.

В «Звук и ярости» Фолкнера имя героя — Бенджи (Бенджамен, то есть божий человек) — соответствует его мифологической роли «агнца божьего», Иисуса Христа.

В романе Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн» автор себя представляет попеременно двумя персонажами — Гантенбайном и Эндерлином, придумывая каждому из них его судьбу и продумывая различные варианты их жизни. Здесь используется тот эффект собственного имени, что оно сообщает названному предмету, или индивиду, статус реальности, ибо, по предстанию древних философов, например Платона, имя, конечно, первичнее, чем названный им предмет. Следуя этой логике, если произнесено имя Гантенбайн, то, стало быть, такой человек существует.

Ср. в стихотворении Давида Самойлова:

В мире многообразном
Есть ясность и туман.
Пока предмет не назван,
Он непонятен нам.
Спрашиваем в страхе:
Кто он, откуда, чей?
Слова — смиренные рубахи
Для ошалевших вещей.

Это поэтическое наблюдение интересно переключается с мыслью Витгенштейна, что язык переодевает мысли, причем делает это так, чтобы по форме одежды нельзя было узнать форму «тела»⁷.

В XX веке собственные имена — одна из самых популярных философских проблем. По поводу них существуют две противоположные концепции. Согласно первой, которую разделял и

Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. — М.: Изд-во иностр. лит., 1958. [4003].

³ См.: Ю. М. Лотман. Место киноискусства в механизме культуры. — Там же, вып. 411, т. 8, 1977, с. 138—150.

⁴ Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление. — М.: Атеист, 1930.

⁵ См., например: Е. М. Мелетинский. Поэтика мифа. — М.: Наука, 1976.

⁶ См., например: А. Л. Бем. У истоков творчества Достоевского; Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой и Достоевский. — Прага: Петрополис, 1935.

поздний Витгенштейн, имя существует реально только в конкретном речевом употреблении и его значение соответствует пучку признаков, составляющих значение индивида, которому принадлежит это имя⁹. В соответствии с этой точкой зрения значение имени может меняться при переходе от одного носителя к другому.

Согласно противоположной точке зрения, которой придерживается, например, Сол Крипке, имена — это «жесткие десигнаторы», то есть они сохраняют значение при различных обстоятельствах (в разных возможных мирах)¹⁰.

В публикуемом ниже фрагменте, принадлежащем перу выдающегося

ученого логико-философской ориентации, одного из основателей теории речевых актов, профессора Калифорнийского университета (Беркли) Джона Р. Серля, приводятся и остроумно аргументируются и опровергаются обе точки зрения на проблему собственных имен. При этом сам Серль скорее придерживается витгенштейновского понимания семантики собственных имен, но предлагает более гибкое непротиворечивое решение этой проблемы, не приводящее к «метафизическим ловушкам».

Этой публикацией мы продолжаем антологию по истории западной философии XX века:

1. Людвиг Витгенштейн. Лекция об этике. — Даугава, 1989, № 2.
2. Арнольд Дж. Тойнби. Христианство и марксизм. — Там же, № 4.
3. Бертран Рассел. Карл Маркс. — Там же, № 5.
4. Уиллард Куайн. О том, что есть. — Там же, № 11.

L. Wittgenstein. *Philosophical Investigations*. — Oxford, 1967.

⁹ С. Крипке. Тожество и необходимость. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, вып. XIII. Логика и лингвистика [Проблемы референции]. М.: Прогресс, 1982, с. 340—376.

Джон Р. СЕРЛЬ

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА

На первый взгляд кажется, нет ничего проще в философии языка, чем наше использование собственных имен: здесь имя, там объект. Имя символизирует объект.

Но хотя это описание совершенно правильное, оно ничего не объясняет. Что подразумевается под «символизирует»? И каким образом когда-то впервые возникло отношение, выраженное словом «символизирует»? Символизируют ли собственные имена тем же способом, что и определенные дескрипции¹¹? Эти и другие вопросы, ко-

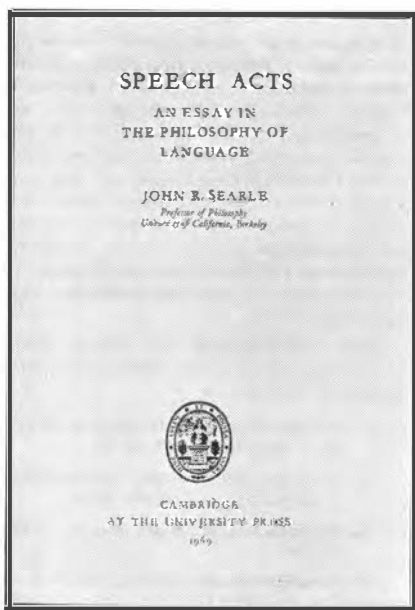
торые я собираюсь обсудить в данном разделе, могут быть суммированы в одном вопросе: «Обладают ли собственные имена смыслом?» Что же мы хотим узнать, задавая такой вопрос? Есть ли сходство между тем способом при помощи которого указывают на объект определенные дескрипции, и тем способом, при помощи которого это делают собственные имена? Является ли собственное имя сокращенной дескрипцией? (...)

Первый ответ представляет собой нечто следующее: собственные имена

John R. Searle. *Proper Names*. — In: J. R. Searle. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. — Cambridge University Press, 1969, с. 162—170. Публикуется с сокращениями.

Определенными дескрипциями называют выражения, обозначающие какой-либо определенный объект (индивид),

например, «автор «Анны Карениной» или «естественный спутник Земли». Определенные дескрипции могут быть заменены собственными именами (соответственно Л. Н. Толстой и Луна), при этом истинность или ложность всего предложения, в котором это имя употреблено, не изменится (принцип *salva veritate* «с сохранением истинности», восходящий к Лейбницу).



не обладают смыслом, они являются бессмысленными знаками, они имеют денотат, но не имеют коннотата (Милль)². Аргумент для подобной точки зрения состоит в том, что, в то время как определенные дескрипции указывают на объект лишь посредством того факта, что они описывают некоторое свойство этого объекта, собственное имя вообще не описывает объект. (...)

Наш грубый здравый смысл приводит нас к заключению, что этот ответ дол-

² Денотатом называют область реальных объектов, вещей, на которые указывает имя, коннотатом — то значение, которое стоит между именем и денотатом (разграничение введено Дж. Ст. Миллем [1806—1873]). Имя собственное таким значением не обладает, оно прикрепляется к денотату в виде ярлыка, ничем с ним по сути не связано, в отличие от нарицательных имен, которые обозначают предмет, описывая его характерные признаки. Классический пример Бертрانا Рассела, демонстрирующий отсутствие значения у имен, гласит: если собаку зовут Финдо, то это не значит, что есть такое свойство «финдоизм», которое присуще всем собакам. Именно этот «финдоизм» «собачность» и являлся бы значением имени.

жен быть верным, но хотя он и обладает большой степенью правдоподобия, тем не менее, по крайней мере в той форме, в которой он поставлен, он не может быть правильным, ибо слишком много фактов свидетельствуют против него. Давайте, во-первых, рассмотрим некоторые метафизические ловушки, в которые приводит некритическое принятие такого взгляда. Собственное имя, как мы склонны считать, не связано ни с одним свойством объекта, как связано с ним дескрипции, оно прикреплено к объекту самому по себе. Дескрипции означают свойства, или признаки, объекта, собственные имена означают реальные вещи. Это первый шаг по дороге, которая ведет к сути, ибо он устремляет мысли к тому, что может быть предположительно основным метафизическим разграничителем между объектами и свойствами, или признаками, объектов, но разграничение это производится в свою очередь путем ссылки на различие между собственными именами и дескрипциями. Такая путаница может быть обнаружена в Трактате³: «Имя означает объект. Объект есть его значение» (3.203). Но заметим, к какому интересному парадоксу это приводит: значения слов, кажется, не могут зависеть от какого-либо случайного факта в мире, так как мы можем описать мир, даже если факты являются другими. В то же время существование обычных объектов — людей, городов и т. д. — является случайным, и, следовательно, существование каждого значения для имен этих свойств также является случайным. Таким образом, их имена вообще не являются именами! Должен существовать класс объектов, чье существование не является случайным, и только их имена являются реальными именами⁴. Что же это значит? Здесь мы можем наблюдать другую хорошую иллюстрацию первородного греха метафизики, попытки вчитывать действительные или мнимые имена в мир. (...)

³ Имеется в виду «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна [1889—1951].

⁴ Это соотносится с платоновской концепцией имен, согласно которой имена являются более первичными, чем называемые ими вещи. Логико-позитивистская традиция считала вопрос о первичности и вторичности имен и знаков псевдопроблемой классической онтологии.

Есть три возражения против взгляда, согласно которому собственные имена не обладают смыслом:

1. Мы употребляем собственные имена в предложениях существования, например: «Есть такое место, как Африка» или «Цербер не существует». Здесь собственные имена не могут быть употреблены для указания на объект, ибо нет такого предмета, на который могло бы указывать экзистенциальное предложение⁵. Если бы это было иначе, то предпосылка обладания им истинностного значения гарантировала бы его истинность в том случае, если бы оно имело утвердительную форму, и его ложность в том случае, если бы оно стояло в отрицательной форме (это еще один путь для того, чтобы сказать, что «существует» не «является предикатом»)⁶. Каждое экзистенциальное утверждение утверждает, что определенный предикат является подтвержденным, проиллюстрированным (Фреге считал, что существование есть «второпорядковое понятие»)⁷. Предложение существования

⁵ Говоря о том, что «нет такого предмета, на который могло бы указывать экзистенциальное предложение», Серль имеет в виду тот факт, что, когда мы говорим, например, «Лебеди существуют», то мы при этом не указываем на лебедей как на референт, в отличие от предложения «Черные лебеди существуют», где мы указываем на вполне конкретный класс черных лебедей (пример Бертрана Рассела).

⁶ Связка «есть» не является предикатом, так как она не обозначает никакой признак предмета. Существование не является свойством вещи, так как оно не присуще ей изнутри. Когда мы говорим, что единороги не существуют, то это означает, что два свойства «наличие однорогости по природе» и «наличие живого существа с таким качеством» не совместимы. Если бы существование было бы свойством предмета, то мы, говоря о чем угодно, что оно существует, тем самым гарантировали бы его существование в реальности, то есть сама форма предложения гарантировала бы его истинность.

⁷ То есть элемент не первичного, предметного языка, а вторичного метаязыка, объектом которого являются не сами вещи, а логические отношения между ними. Существование в соответствии с этим приписывается всему суждению в логической записи в виде так называемых кванторов, то есть таких слов второпорядкового языка, которые указывают, о каком количестве индивидов идет речь в

не указывает на объект и не утверждает, что он существует, скорее оно выражает понятие и утверждает, что это понятие является подтвержденным. Таким образом, если собственное имя появляется в экзистенциальном утверждении, то оно тем самым должно иметь некий понятийный или дескриптивный смысл⁸. Попытки, подобно раселовской, улизнуть от этого пункта, принявшие форму говорения о том, что такие выражения не являются настоящими собственными именами, — это отчаянный маневр, показывающий, что нечто, что представляет собой выведение одного из другого, должно быть неверным⁹.

2. Предложения, содержащие собственные имена, могут быть использованы для того, чтобы сделать утверждение отождествления, содержащие фактическую, а не только лингвистическую информацию. Так, предложение «Эверест это Джомолунгма» может быть использовано для того, чтобы делать заключения, имеющие географический, а не только лексикографический смысл. К тому же, если бы собственные имена были бессмысленными, то утверждение не могло бы содержать информацию в большей

предложении [квантифицируют его]: обо всех предметах [квантор всеобщности, или универсальный]; о том, что в принципе такие предметы существуют [квантор существования, или экзистенциальный], или о том, что такой индивид является единственным [сингулярный, или единичный, квантор].

⁸ По-видимому, Серль здесь рассуждает таким образом: предложение существования ни на что не указывает, стало быть, имя в нем не может нести указательную функцию, стало быть, оно обозначает какое-то понятие, стало быть, у него должен быть смысл. Ср. странность такого предложения: «Маша существует». В отрыве от контекста оно действительно является вполне бессмысленным.

⁹ Рассел считал, что так называемые обычные собственные имена на самом деле не являются таковыми, так как реально они не только указывают на реальные объекты, но и описывают их. Поэтому Рассел рассматривал их как сокращенные определенные дескрипции, а собственными именами он полагал считать только исключительно указательные слова, в первую очередь слова «тот» и «этот». Теория дескрипций Рассела многократно подвергалась критике за ее логическую непоследовательность.

степени, чем это имеет место в предложении «Эверест это Эверест»¹¹. Таким образом, представляется, что собственные имена должны иметь смысл. Это, по существу, фрегевский аргумент.

3. Принцип отождествления подразумевает, что собственные имена должны сообщать некоторое описание в той же мере, как и определенные дескрипции, если указание на объект доведено до конца. И из этого, как кажется, следует, что собственные имена — род сокращенных дескрипций.

Все три возражения указывают на один и тот же вывод, а именно, что собственные имена являются сокращенными определенными дескрипциями.

Но кажется, что это заключение не может быть верным, ибо даже если не иметь в виду его гротескной неправдоподобности, оно несовместимо с множеством очевидных истин. Первое — если бы имело место то, что собственные имена это сокращенные дескрипции, то тогда дескрипции можно было бы расценить как эквиваленты для определений собственных имен; но, вообще говоря, у собственных имен нет определений¹². В так называемых словарях собственных имен можно найти описания носителей имен, но в большинстве случаев эти описания не являются эквивалентами определений самих имен, так как они являются лишь случайно истинными для их носителей¹².

¹¹ Предложение «Эверест это Эверест» является тавтологией, в то время как предложение «Эверест это Джомолунгма» несет «дескриптивную информацию». Из этого Серль делает вывод, что собственные имена обладают смыслом. Но если мы ничего не знаем ни об Эвересте, ни о Джомолунгме, то это предложение опять-таки становится бессмысленным. Оно приобретает значение только в контексте вроде: «Индийцы называют Эверест Джомолунгой», то есть когда между этими именами появляются не чисто логические, а контекстуальные отношения.

¹¹ Нельзя дать определение собственному имени подобно нарицательным именам — через общий род и частное различие, то есть нельзя сказать, что Маша — это женщина, обладающая такими-то качествами. Таких качеств просто нет, так как Машей может быть названа любая женщина.

¹² Реально в жизни языка и культуры различные имена, конечно же, несут опре-

Мы не только не имеем эквивалентов для определенных собственных имен, но неясно, откуда они могут быть вообще взяты, чтобы можно было во всех случаях употребления собственного имени заменить его ими. Если мы попытаемся представить полное описание объекта в качестве значения имени, это будет иметь добавочное следствие: например, каждое истинное утверждение об объекте, использующее имя собственное в качестве субъекта, будет аналитическим, а каждое ложное — противоречивым¹³, значение имени и, возможно, тождество объекта, будет меняться каждый раз, когда будет меняться объект, одно и то же имя будет иметь различные значения для разных людей и т. д. И так, кажется, что точка зрения, согласно которой собственные имена являются дескрипциями, не может быть верной.

деленные и очень сильные смыслы. Так, имя Мария в христианской культуре будет ассоциироваться с девицей Марией, Богородицей. В художественной литературе, как известно, всегда безразлично, каким именем назван герой. Так, имя Лиза в русской прозе XIX века будет ассоциироваться с «Бедной Лизой» Карамзина, поэтому Лиза — всегда существо страдательное — Лиза Калинина в «Дворянском гнезде» Тургенева, Лиза из «Пиковой дамы», Лизавета в «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых». Напротив, имя Катерина после «Страшной мести» Гоголя ассоциируется с мятежностью и инфернальностью — «Хозяйка» Достоевского, «Гроза» Островского.

Аналитическими называются утверждения, истинность или ложность которых следует из самой их семантической структуры. То есть истинность значения аналитического предложения можно определить, не апеллируя к фактам. Пример аналитического предложения — «Все квадраты — прямоугольники». Но если собственное имя совпадает с полным списком признаков объекта, то тогда в предложении с собственным именем в роли субъекта и не надо будет обращаться к фактам, так как все факты в свернутом виде содержатся в «значении» собственного имени. Следовательно, такие предложения должны быть аналитическими.

Имеется в виду, что если собственное имя — то же самое, что список признаков объекта, то тогда, например, само по себе слово Иван будет иметь разные значения, будучи отнесено к Ивану Грозному и к Ивану Сергеевичу Тургеневу, что абсурдно, ибо тогда придется считать, что Ивана Грозного и И. С. Тургенева звали разными именами.

Здесь мы получаем прекрасный пример философской проблемы: с одной стороны, здравый смысл приводит нас к заключению, что собственные имена не являются набором описаний, что они суть *sui generis* (нечто своеобразное), но против этого нас убеждает целая серия теоретических выкладок, которые приводят к выводу, что оно должно быть сокращенным описанием. Но и против последнего мы тоже можем выдвинуть серьезные аргументы. Эта антиномия снимается при помощи решения, к обсуждению которого я сейчас перехожу.

Мы можем переформулировать наш первоначальный вопрос «Обладают ли собственные имена смыслом?» как «Влечет ли за собой указательное использование собственных имен какие-либо описательные предикаты?» или, проще говоря: «Являются ли все предложения, где субъект представляет собой собственное имя, а предикат — описательное выражение, аналитически истинными?». Но этот вопрос имеет более свободную и более строгую форму: (а) свободная: «Являются ли все такие утверждения аналитическими?» и (б) строгая: «Являются ли утверждения, где субъектом служит имя собственное, а предикатом — отождествляющая дескрипция, аналитическими?»

Рассмотрим первый вопрос. Характерной особенностью собственного имени является то, что оно употребляется для указания на один и тот же объект в различных обстоятельствах. Использование одного и того же имени в разные моменты истории объекта предполагает, что объект остается тем же; необходимое условие тождества референции это тождество объекта, к которому производится референция. Но само предположение, что объект является одним и тем же, в свою очередь тоже предполагает критерий тождества: то есть он предполагает возможность для части говорящих отвечать на вопрос: «Посредством чего объект в момент t_1 , обозначаемый именем N , отождествляется с объектом в момент времени t_2 , обозначенным тем же именем?»¹⁵, или, проще гово-

ря: «Является ли объект в момент времени t_1 тем же объектом, что и в момент времени t_2 ?» Слово «что» заполняется общим термином¹⁶: та же гора, та же река, тот же человек. Общий термин обеспечивает в каждый момент времени критерий тождества. Это дает нам положительный ответ на свободную форму вопроса. Любой общий термин аналитически связан с соответствующим собственным именем: Эверест — это гора, Миссисипи — это река, де Голль — человек. Нечто, что не является горой, не может быть Эверестом и т. д., ибо для того, чтобы обеспечить непрерывность референции, мы должны иметь критерий тождества; и общий термин, ассоциирующийся с именем, дает нам такой критерий. Даже для тех людей, которые хотели бы утверждать, что де Голль может превратиться в дерево или лошадь и в то же время оставаться де Голлем, должен быть тот же критерий тождества. Де Голль не мог бы превратиться во что угодно, например в первое число, и в то же время оставаться де Голлем, и сказать это — все равно, что сказать, что некоторые термины или ранг терминов аналитически связаны с именем де Голля.

(...)

Но ответ «да» на более свободный вопрос не предполагает такого же ответа на более строгий, а ведь именно строгая форма является решающей для определения того, имеют ли собственные имена смысл, в том значении слова смысл, в котором его употребляют Фреге и я¹⁷.

(...)

объектом, хотя, например, по своему клеточному строению он может за несколько лет леремниться физически на 100%. Нарушение принципа генетического тождества в логике и в художественной литературе приводит к возникновению эффекта двойников. Например, в рассказе Борхеса «Другой» старый Борхес встречает самого себя в молодости.

¹⁶ Общий термин — слово или выражение, значением которого является класс предметов, в отличие от единичного [сингулярного] термина, значением которого является единичный объект, например, Луна или Наполеон Бонапарт I.

¹⁷ Имеется в виду основополагающая работа Г. Фреге [1848—1925] «Смысл и денотат», где впервые проведено разграничение между смыслом слова как способом выражения знака в денотате и самим денотатом. По Фреге, выражения «Утрен-

¹⁵ Имеется в виду так называемый принцип генетического тождества, в соответствии с которым человек [и любой другой объект] в разные моменты своей истории считается одним и тем же

Итак, давайте рассмотрим более строгую формулировку нашего вопроса в свете принципа отождествления. Согласно этому принципу всякий, кто использует собственное имя, должен быть готов к тому, чтобы заменить его отождествляющей дескрипцией объекта, на который указывает собственное имя. Если он не в состоянии сделать это, то мы скажем, что он не знает, о ком или о чем он говорит, и именно это соображение склоняет нас (и среди прочего склоняло Фреге), сказать, что собственное имя должно обладать смыслом, и что отождествляющая дескрипция конституирует этот смысл. Подумаем, что означает знать собственное имя. Положим, вы говорите мне: «Обрати внимание на Факлака, что ты думаешь о нем?»¹⁸ Если я никогда раньше не слышал этого имени, я только могу ответить: «Кто он такой?» или «Что это такое?» И не дает ли мне ваш последний ответ — который согласно принципу тождества состоит в том, что мне дается указательное представление или множество описаний, — не дает ли он мне смысл имени только в том случае, если вы можете дать мне смысл общего термина?¹⁹ Не является ли это определением имени?²⁰

Мы уже обсудили некоторые возражения против этого взгляда; дальнейшее возражение состоит в том, что

няя звезда» и «Вечерняя звезда» обладают различными смыслами, но обозначают один и тот же денотат — планету Венера.¹⁸ Факлак — явно вымышленное «древнегреческое» имя.

¹⁹ Если ничего неизвестно об имени Факлак, то есть даже нелоятно, имеется ли в виду человек или животное, то, стало быть, у собственного имени нет смысла.

²⁰ Обратим внимание на стиль Серля. Он все время задает вопросы, на которые не знает ответов. Это несомненная стилистическая переключка с поздними произведениями Витгенштейна — «Философские исследования» и «О достоверности», с идеями и образом мышления которых тесно связана лингво-философская концепция Серля.

²¹ Г. Фреге. Мысль: логическое исследование. — В кн.: Философия. Логика. Язык. М.: Прогресс, 1987, с. 29.

дескрипция, которой кто-либо готов заменить имя, может не быть той же самой для кого-то другого, готового ее заменить. Скажем ли мы тогда, что то, что определено истинно для одного, является случайным для другого? Заметим, какой маневр предпринял здесь Фреге:

«Предположим далее, что Херберт Гарнер знает, что доктор Густав Лаубен родился 13 сентября 1875 года и что никто другой не родился тогда же и там же, в противоположность этому представим, что он не знает, где живет доктор Лаубен в настоящее время или вообще ничего не знает о нем. С другой стороны, пусть Лео Петер не знает, что доктор Густав Лаубен родился 13 сентября 1875 года в N. В таком случае Херберт Гарнер и Лео Петер будут, употребляя имя собственное «доктор Густав Лаубен», говорить на разных языках, хотя они в действительности будут этим именем обозначать одного человека: ведь они не будут знать, что делают именно это»²¹.

Таким образом, согласно Фреге, если наша дескриптивная поддержка имени не останется той же самой, мы даже не будем при этом говорить на одном и том же языке. Но, в противоположность этому, заметим, что мы часто рассматриваем собственное имя как часть одного языка, в противоположность другому языку. (...)

Мой ответ на вопрос, обладает ли собственное имя смыслом — если тем самым спрашивают, используется ли оно для описания специфических характеристик объектов, — «Нет». Но если под этим вопросом подразумевается, связано ли собственное имя с логическими характеристиками объектов, на которые они указывают, то ответ будет — «Да», если вопрос задан в его свободной формулировке.

Перевод с английского,
подготовка текста и комментарии
Вадима РУДНЕВА

КАРТОТЕКА ЮРАСОВА IX



1. **АБОЛИН** Август Янович (годы жизни неизвестны)
В 1946 году репрессирован МГБ.
2. **АБОЛИНА** Илга Яновна (1923—?)
Жена Аболина А. Я. В 1949 г. репрессирована и выслана за мужа в места спецпоселения МГБ.
3. **АНТРОПОВ** Т. И. (годы жизни неизвестны)
Писатель, в 1949 году исключен из СП СССР.
4. **БЛОМБЕРГ** К. Ф. (годы жизни неизвестны)
Рабочий завода «Шарикоподшипник». В 1938 году арестован УНКВД Москвы.
5. **ВЕНЦЕЛЬ** Петр Петрович (1905—?)
Военврач 3-го ранга, начальник санитарной службы стрелкового полка. Репрессирован в 1939 году, реабилитирован.
6. **Германсон** Фриц Эрнестович
Расстрелян в июле 1941 года.
7. **ГРЕВИНЬШ** В. В. (годы жизни неизвестны)
Писатель, оклеветан как «космополит» и «враг». Исключен из СП СССР 21 ноября 1946 года.
8. **ГРЕВИНЬШ** В. Я. (годы жизни неизвестны)
Писатель. Оклеветан как «формалист», исключен из СП СССР 3 января 1951 года.
9. **ЖАГАР** В. И. (?—1937)
Член КПСС с 1917 года. Участник Октябрьских событий. В 1933—1936 гг. работал в НКЗеме СССР. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
10. **ЖАГАТ** Индрик Янович (1883 — 16 апреля 1938 г. «ВМН»)
Член КПСС с 1905 г. Участник революционного движения в Латвии. В 1933—1935 гг. находился в Москве на хозяйственной работе, затем — персональный леиснонер. Посмертно реабилитирован.
11. **ЖВИГУР** Эмма (1888—1983 (в Риге)
Член КПСС с 1917 г. Участница революционного движения в Латвии. С 1919 г. работала в Москве, с 1933 до 1937 г. — в издательстве латышской литературы «Прометей».
12. **ЖИГАР** И. К. (?—1937)
Член КПСС с 1920 года. Делегат XVI съезда ВКП(б). Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
13. **ЖИЛИНСКИЙ** Екаб Григорьевич (1884—1939)
Член КПСС с 1903 г. Член ВОПС (1933 г.). Работал за рубежом в торгпредствах (Берлин, Лондон). Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
14. **ЗАККЕ** Владимир Петрович (1910—?)
Лейтенант РККА, летчик-инструктор школы летчиков. Арестован в 1937 году, осужден на 10 лет ИТЛ, реабилитирован.

Окончание. Нач. см. «Даугава», № 4—11.

15. **ЗАЛЬКАЛН Александр Андреевич [1901—?]**
Участник Великой Отечественной войны. Репрессирован в 1945 г., осужден на 10 лет ИТЛ, реабилитирован.
16. **ЗАНДБЕРГ А. М. [1910—?]**
Студентка Ленинградского гидротехнического института. Репрессирована в 1944 г., осуждена на 10 лет, реабилитирована.
17. **ЗАНДРЕЙТЕР Эдуард Янович [1885—4 июня 1938 г. «ВМН»]**
Член КПСС с 1902 г. Участник революционного движения в Латвии. Работал в ИККИ (с 1930 по 1937 г. — в латышской секции). Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
18. **ЗВАГУС Артур Карлович [1905—?]**
С 1926 по 1937 г. — в РККА. Старший лейтенант, командир батальона. Арестован, осужден на 7 лет ИТЛ, реабилитирован.
19. **ЗВАЙГЗНЕ Борис Янович [1887 — 4 марта 1938 г. «ВМН»]**
Член КПСС с 1905 г. Участник революционного движения в Латвии. С 1921 г. — политработник РККА, затем на хозяйственной работе. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
20. **ЗВАЙГЗНЕ Кришьян Кришьянович [1894 — 16 апреля 1938 г. «ВМН»]**
Член КПСС с 1911 г. Член ВОПС [1930 г.]. В 1930—1933 гг. работал в торгпредствах СССР [Лейпциг, Лондон]. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
21. **ЗВЕЙНЕК Петр Петрович [1891—1938]**
Член КПСС с 1906 г. Участник гражданской войны в Самаре. Находился в Куйбышеве на партийной работе. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован.
22. **ЗВИРГЗДЫНЬ Освальд [?!—1937]**
Член КПСС. Участник революционного движения в Латвии. Работал в РСФСР. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
23. **ЗВИРГЗДЫНЬШ Эдуард Карлович [1893—1968 (в Ленинграде)]**
Член КПСС с 1910 г. С 1934 г. — в латышской секции Коминтерна. В 1937—1958 гг. — жертва культа личности. Реабилитирован.
24. **ЗВЮКШ Август Фрицевич [1884 — 4 сентября 1937 г. «ВМН»]**
Член КПСС с 1904 г. Участник гражданской войны. Работал в РСФСР, с 1930 г. — персональный пенсионер. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
25. **ЗВЮКШ Анна [1884—1937]**
Член КПСС с 1905 г. Участница революционных событий 1905—1907 гг. в Латвии. Жена Звюкша А. Ф. Репрессирована в 1937 году, реабилитирована.
26. **ЗЕГЖДА Ю. А. [годы жизни неизвестны]**
Инженер-конструктор, жил в Ленинграде. Репрессирован в 1941 г., осужден на 10 лет, реабилитирован.
27. **ЗЕЙКАН Андрей Карлович [1896—1943 [?]]**
Член КПСС с 1924 г. Участник революционного движения в Закарпатье. Работал в «Карпатской правде» в Мукачево, с 1932 г. — жил и работал в Харькове.
28. **ЗЕЙМАЛЬ Владислав [1898 — 13 февраля 1938 г. «ВМН»]**
Член КПСС с 1918 г. Журналист, до 1937 г. — в «Правде» и ЦК ВКП(б). В 1936—1937 гг. член Загранбюро ЦК КП Латвии. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
29. **ЗЕЙТ Ф. Г. [?! — 18 октября 1937 г. «ВМН»]**
Член КПСС. Участник троцкистской оппозиции [1925—1927 гг.]. Член «Московского центра», осужден по процессу 1935 года. Реабилитирован посмертно.
30. **ЗЕЛЬГЕ Юрий [1892—1937]**
Член КПСС с 1907 г. Участник гражданской войны. В 20—30-х гг. жил и работал в СССР. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован.

31. ЗЕЛЬТИНГ Арнольд Иванович (годы жизни неизвестны)
Член КПСС. Капитан 1-го ранга (1935 г.) на постах в ВМФ СССР. Репрессирован в 1937 году.
32. ЗЕМИТ Петр (1874—1937)
Член КПСС с 1905 г. Участник революционного движения в Латвии с 1904 года. Участник гражданской войны в Башкирии. Жил в РСФСР. Реабилитирован.
33. ЗЕМИТ Фридрих (1868—1938)
Член КПСС с 1903 (1904) г. Участник революционного движения в России. Работал в НКФине СССР. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
34. ЗЕНЕК Иосиф Яковлевич (1898 — 18 октября 1937 г. «ВМН»)
Член КПСС с 1918 г. Участник гражданской войны. Окончил Военную академию РККА (1924 г.). В 1925—1927 гг. — военный советник в Китае. С 1933 г. на партийной работе в СССР, полковник (1935 г.).
35. ИКАУНИЕК Ян (1901—1944 [!])
Член КПСС. Журналист. Арестован в 1944 году.
36. ИОДЕЛИС Лилия Ивановна (1924—?)
Жила в г. Николаеве. Дочь Иоделис М. Х. Репрессирована в 1944 году, осуждена на 25 лет ИТЛ, реабилитирована.
37. ИОДЕЛИС Мария Христофоровна (1901—?)
Жена Иоделиса И. (1900 г. р.), жила в Николаеве. Вместе с дочерью репрессирована в 1947 г., осуждена на 25 лет ИТЛ, реабилитирована.
38. ИОГАНСОН Ю. И. (?—1937)
Член КПСС. Участник гражданской войны на Дальнем Востоке. Находился в РСФСР на партийно-хозяйственной работе. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован.
39. ИОСИНГ Владимир Степанович (годы жизни неизвестны)
Рядовой войсковой части в Латв. ССР. Репрессирован в 1951 году, реабилитирован.
40. КАЛНИН М. С. (годы жизни неизвестны)
Гардеробщик на заводе в Москве. Арестован УНКВД в 1937 году.
41. КАРКЛИН Франц Иванович (? — 20 ноября 1937 г. «ВМН»)
Член КПСС. Секретарь ГК ВКП(б) на строительстве Магнитогорска. В 1934—1936 гг. работал в Свердловском ГК ВКП(б). Арестован 12 сентября 1936 года.
42. КАСВАНД Эдуард Оттович (годы жизни неизвестны)
Член КПСС. Полковник (1935 г.), находился на командных постах в РККА. Арестован в 1937 году.
43. КРАСТИН Альфред Михайлович (?—1939 «ВМН»)
Член КПСС. Чекист, до 1938 г. работал в УНКВД по Московской области.
44. КРАСТИН Густав (1889—1937)
Член КПСС с 1917 г. Участник революционного движения в Латвии. Работал в Москве. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован.
45. КРАСТОЛ А. К. (годы жизни неизвестны)
Член КПСС. Сержант госбезопасности. Работал в НКВД СССР, в 1937 г. награжден орденом за проведение массовых репрессий. Сам арестован в 1938 году.
46. КРЕСЛИН Лилия Петровна (1895—1969)
Член КПСС с 1912 г. Участница революционного движения в Латвии. С 1929 по 1937 г. — на дипломатической, научной работе. Репрессирована в 1937 году, реабилитирована.
47. КРОНИТ Теодор Александрович (1900—1937 «ВМН»)
Член КПСС. Работал в Прокуратуре СССР.
48. КРУМИН Вольдемар Петрович (годы жизни неизвестны)
Член КПСС. Работал в органах НКВД СССР, участник проведения массовых репрессий 1937 г., летом 1937 г. награжден орденом.

49. ЛАГЗДА Август Иванович [1900—1937 «ВМН»] [в Дмитлаге]
Прораб земляных работ Дмитлага.
50. ЛАУБЕРТ Юлий [1873—!]
График, иллюстратор книг. Репрессирован в 1937 году.
51. ЛЕЛОЗОЛ Петр Янович [?!—1937 [?]]
Член КПСС с 1905 г. Участник троцкистской оллозиции в 1927 г., исключен из ВКП(б), затем восстановлен. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован посмертно.
52. МАГГО Петр Иванович [?!—1937 [?]]
Член КПСС. Дежурный комендант Ленинградского УНКВД (1936 г.), капитан ГБ, начальник Лефортовской тюрьмы НКВД СССР.
53. МЕНДЕР Фриц [1885—1975]
Член ЦК ЛСДРП. Депутат Сейма Латвии. В 1940—1941 гг. — старший юрисконсульт НКюста Латв. ССР. Арестован в 1948 году, освобожден в 1955 году.
54. МИНИН Владимир Прокофьевич [1918—!]
Директор Резекненского мясокомбината. Репрессирован в 1946 г., осужден на 10 лет. Реабилитирован.
55. НАМНИЕКС Теодор Янович [1891—1943]
Член КПСС с 1912 г. Участник революционного движения в Латвии. Репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
56. НЕЙМАН-КОЛЬБЕ Курт Карлович [1906—!]
Незаконно репрессирован в 1946 году. Реабилитирован.
57. НЕЙМАН Лина Юрьевна [Юльевна] [1898—!]
Член КПСС с 1916 г. Юрист, работала в системе Наркомюста СССР [1937 г.]. Арестована в 1937 году.
58. НЕЙМАН Ян [1873—1938]
Член КПСС с 1904 г. Участник революционного движения в Латвии в 1905—1907 гг. Жил и работал в Москве. Репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
59. НИЦМАН Ян Михайлович [1887—18 декабря 1937 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1907 г. Участник революционного движения в Латвии. Член ВОПС [1934 г.]. Жил в Москве. Реабилитирован.
60. НУДЭ А. А. [?!—1937]
Член КПСС с 1917 г. Жил в Москве. Делегат XVII съезда ВКП(б). Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
61. ОДЫНЬ Эмма Матвеевна [1889—!]
Член КПСС с 1908 г. Член ВОСБ [1933 г.]. Была на партийной работе в БССР, Поволжье.
62. ОЗЕМСКИЙ Франц Романович [1907—!]
Колхозник. Необоснованно репрессирован в 1941 году, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
63. ОЗОЛ Анна Мартыновна [1870—1943]
Член КПСС с 1903 г. Участница революционного движения. Работала в МОПРе, клубе латышей им. П. Стучки в Москве. Незаконно репрессирована в 1937 году. Реабилитирована.
64. ОЗОЛ Мартын [1879—14 апреля 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1917 г. Секретарь ЦК КП Латвии, работал в Коминтерне. С 1935 по 1937 г. — в Загранбюро ЦК КП Латвии (г. Москва).
65. ОЗОЛ Миккель Иванович [1893—1938]
Член КПСС с 1910 г. Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
66. ОЗОЛ Фриц Иванович [1876—14 марта 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1908 г. Член ВОСБ [1933 г.]. Начальник Швейкомитета при ВСНХ СССР (1937 г.). Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован посмертно.

67. ОЗОЛ Ян Янович [1887—1937]
Член КПСС с 1905 г. Участник революционного движения в Латвии в 1905—1907 гг. В 30-е годы работал в Москве. Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
68. ОЗОЛИН Альфред [1904—1943 (? в ИТЛ!)]
Член КПСС с 1928 г. Участник молодежного комсомольского движения в Латвии. С 1936 года работал по линии КИМ в Москве. Арестован в 1937 году.
69. ОЗОЛИН Анатолий Карлович [1916—?]
Преподаватель истории средней школы в селе Ермаковское Красноярского края. В 1941 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
70. ОЗОЛИН Владимир [1893—2 апреля 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1917 г. Участник гражданской войны. Дивизионный комиссар (1935 г.), заместитель начальника ПУРа Московского ВО [1933—1937 гг.]. Арестован летом 1937 года.
71. ОЗОЛИН В. Я. [годы жизни неизвестны]
Заместитель начальника ЦИАМ (авиамоторостроения). В 1939 году арестован НКВД в Москве.
72. ОЗОЛИН Екаб [1893—27 сентября 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1919 г. Участник гражданской войны. Флагман 2-го ранга (1935 г.), с 1937 года — начальник Военно-морского училища ВЛКСМ. Арестован 14 марта 1938 года.
73. ОЗОЛИН Карл [1893—1938]
Член КПСС с 1910 г. Журналист, с 1931 года работал в издательстве «Прометей». Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
74. ОЗОЛИН Карл Петрович [1871—1946]
Кузнец ветеринарного пункта села Ермаковское Красноярского края. В 1941 году репрессирован. Реабилитирован.
75. ОЗОЛИН Константин Иванович [1893—13 декабря 1945 (в ИТЛ)]
Член КПСС с 1917 г. Участник гражданской войны. Бригадный комиссар (1935 г.), в 1934—1937 гг. помощник начальника Академии связи РККА. В 1937 году член Военного совета Харьковского ВО. Арестован, погиб в лагерях.
76. ОЗОЛИН Эдуард [1891—1967]
Член КПСС с 1914 г. Участник революционного движения в Латвии и гражданской войны. В 1931—1937 гг. на партийной и советской работе в Москве. Репрессирован в 1937 году, осужден. Реабилитирован.
77. ОЗОЛИН Ян Миккелевич [1911—1938 (погиб)]
До 1937 года редактор Омского областного издательства.
78. ОЗОЛИН Ян Янович [1896—1941]
Композитор и дирижер. После Октябрьской революции работал в Пролеткульте, издательстве латышской литературы «Прометей». Необоснованно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
79. ОЗОЛИНА Марта Ивановна [1887—1940 (?)]
Член КПСС с 1906 г. Участница революционного движения в Латвии. Работала в РСФСР (1936 г.) Незаконно репрессирована в 1937 году. Реабилитирована.
80. ОЗОЛС Эмма Анджевна [1892—?]
В 1949 году необоснованно репрессирована, выслана из Латвии в Омскую область на спецпоселения. Реабилитирована в 1955 году, возвратилась на родину.
81. ОЛИН Арнольд Петрович [?—1938 (?)]
Член КПСС. Жил в Закавказье. Арестован 13 марта 1937 года.

82. ОЛЬБЕРГ (-БРАУН) Бетти [1910—1940 (!)]
Жена Ольберга В. П. (1907 г. р.). В 1936 году незаконно репрессирована.
83. ОЛЬБЕРГ Валентин Павлович (1907—1936)
Инженер. Незаконно репрессирован по процессу Зиновьева — Каменева в 1936 году. Казнен 25 августа 1936 года. Реабилитирован в 1988 году.
84. ОЛЬБЕРГ Павел Павлович (1904—1937 «ВМН»)
Брат Ольберга В. П. В 1936 году незаконно репрессирован.
85. ОЛЮКАЛНС Анна Эвальдовна [1908—!]
Крестьянка-единоличница Вентспилсского района Латвийской ССР. В 1946 году незаконно репрессирована, осуждена. Реабилитирована.
86. ОРАС Лауль Юрьевич [1897—1937]
Член КПСС с 1917 года. Участник Октября и гражданской войны. Политработник, комиссар ледокола. Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
87. ОРТ Генрих Иванович [1915—!]
Слесарь 1-го стройучастка «Сибстройпуть» Томской железной дороги. В 1945 году незаконно репрессирован, осужден на 7 лет ИТЛ. Реабилитирован.
88. ОТТАС Людмила Ивановна [годы жизни неизвестны]
Работала в «Союзе рабочих леса и сплава» [1934 г.]. В Ленинграде жила до 1937 года.
89. ПЕТЕРСОН Ян [1892—12 сентября 1937 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1909 года.
90. РУСМИН Вильям Янович [годы жизни неизвестны]
Военный работник РККА. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1938 году репрессирован.
91. САУЛЮК Ян [?!—1937]
Журналист.
92. СКРОДЕР Альфред [1883—1937]
Педагог.
93. ТАЛЬМАН Мильда [?!—1937 (!)]
Педагог. Арестована в Ленинграде.
94. УГЕРЕК Эдвард Францевич [?!—июль 1941 г. «ВМН»]
Колхозник Киевской области. Арестован НКВД в 1940 году.
95. УЛЬМАН Жан Карлович [годы жизни неизвестны]
Военный работник РККА. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Репрессирован в 1937 году.
96. УЛЬПЕ Роберт Яковлевич [годы жизни неизвестны]
Работал в ЛИИЖТ в Ленинграде [1934 г.]. Арестован в 1937 г.
97. ФЕРЕ Георгий Карлович [1872—1937]
Расстрелян.
98. ЦУРЛЕНИС Виктор [годы жизни неизвестны]
Незаконно репрессирован в 1948 году.
99. ШВЕЙЦ Эраст [1895—!]
Художник. Репрессирован в 1937 году.
100. ШКИПЕН Эвальд [1893—!]
Литератор, драматург. Репрессирован в 1937 году.
101. ШТРЕК Александр Васильевич [?!—1937]
Расстрелян.
102. ЭГЛИТ Кристан [1879—1941]
Член КПСС с 1903 г. Необоснованно репрессирован в 1937 году.
103. ЭЛЬКСНИС Мартын [1890—14 сентября 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1909 г. Участник революционного движения.

«СУТКАМИ И ЛИТРАМИ»

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Всем им надо давать так, чтобы только до места расстрела довести.

Л. П. Берия

(Слова палача, процитированные во время суда над ним 20.12.53 г.)

Итак, уважаемые читатели, вы ознакомились с заключительными материалами моей картотеки, подобранными специально для публикации в «Даугаве».

Девять номеров подряд проходили перед вашими глазами скупые, скорбные списки горя, бесчестья, человеческого позора и человеческой подлости. Нет, да и, наверное, никогда не будет такой стены, которая смогла бы уместить на маленьких кирпичиках фамилию каждого и разом — всех. Понадобилось бы миллионы и миллионы кирпичиков. В ней, в этой воображаемой стене, оказались бы рядом следователи и подследственные, вертухаи и заключенные каналаармейцы Беломоро-Балтийского канала (откуда пришла аббревиатура «з/к», известная на весь мир), стукачи и жертвы доносов — все. И все рядом, все вместе!

Найдется ли в нашей стране сегодня тот Верховный судья, который в условиях полугласности (при абсолютно закрытых архивах НКВД-КГБ) возьмет на себя право метить направо-налево: палач—жертва, жертва—палач. Менять местами то одного, то другого. И в конце концов, думаю, и сам заплутает, запутается и скажет: «сбились, сбились мы с пути...»

Представляется мне, что не на всех кирпичиках мы найдем глазами фамилии, имена. Будет просто по счету — столько-то миллионов: кирпич, кирпич, кирпич и еще миллионы камней. Интересно, а ведь никто не считал, сколько кирпичей составляют Кремль-

скую стену? Наверняка многим меньше, нам не хватит... .

Огромная часть такой стены пошла бы на Прибалтику.

Маленькое отступление. Осенью этого года мне довелось впервые побывать в Риге. Теплый прием и готовность к сотрудничеству я ощутил, находясь в стенах Института истории партии при ЦК КП Латвии, где сотрудники, подготавливающие на протяжении многих лет книги памяти деятелей революционного движения Латвии, оказали посильную помощь и поддержку в моей работе. Зашел разговор о материалах депортаций латышских семей в период 1940—1941 гг. Надо сказать, что моя собственная картотека практически не содержит таких данных. В обрабатываемых мною архивах г. Москвы материалы депортаций из Латвии не встречаются, и искать их надо в архивах МВД-КГБ Латвийской ССР. Тут мне и сказали, что в Стокгольме в 1982 году была выпущена книга-мартиролог со списками депортированных семей. Как же с ней ознакомиться? Оказалось, что она находится в спецфондах библиотеки АН Латвии, где мне разрешили «по знакомству» поработать с ней. По сути, эта книга¹ — сама ПАМЯТЬ, вобравшая фамилии десятков тысяч рас-

¹ «These Names Accuse» [Nominal list of latvians, deported to Soviet Russia in 1940—1941]. NLF, Stockholm, 1982

топанных людей. И никаких слов не нужно — все сказано этими бесконечными скорбными столбцами. И никаких доводов в пользу «воссоединения-присоединения» (или наоборот, какая разница) — налицо уничтожение, геноцид, трагедия, обрушившаяся на народ Латвии. Не знаю о подобных изданиях по Литве, Эстонии, очевидно — их нет. Пока нет.

Идем дальше. Внимательный читатель, знакомившийся с материалами картотеки, смог заметить в отношении некоторых уничтоженных время гибели — июль 1941. То крупнейшая дата массовых расстрелов жителей Риги: состоятельных и не очень, военнослужащих, представителей интеллигенции, взятых на протяжении осени 1940 года. Стреляли беспощадно, опасаясь скорого прихода немецко-фашистских войск. Стреляли в спешке, да так, что в некоторых расстрельных местах трупы даже не успевали закапывать.

О геноциде 13—14 июня 1941 г. сейчас знают очень многие. День 14 июня 1941 года вошел черной датой в историю латышского народа. Если верить сообщениям печати, то в ночь с 13 на 14 июня из Латвии было выслано 14 тысяч 476 человек. Я лично отношусь к этой цифре как к явно заниженной. А депортации шли полным ходом и сразу после освобождения Латвии от немцев, шли в обычном порядке «изоляции социально-опасного, социально-вредного, социально-чуждого элемента». Шли до очередной огромной волны депортации 1949 года, поглотившей депортацию 1941-го и добравшей всех, кого не добрали раньше.

«Сутками и литрами» текла кровь порабощенного народа. Наша печать отваживается назвать цифру депортированных за 1949 год — 43 тысячи 231 человек. Уничтожение продолжалось. Надо думать, что в это число попали и родственники так называемых националистов — лесных братьев. Вся вина многих из них состояла в том, что они бежали в леса, спасаясь от «родной советской власти». Ну, а с настоящими националистами не церемонились. Их не депортировали. Когда отменили на несколько лет смертную казнь, давали «четвертную» — каждому вокругую по 25 лет исправительно-трудовых лагерей (иной срок для них был редким), а с момента введения смертной казни в СССР, то есть с 12

января 1950 года, приговаривали к «высшей мере социальной защиты».

Сутками и литрами . . .

Перепись населения СССР на 1926 год дала более 200 000 латышей, живших в различных уголках Союза. А следующая, как мы теперь знаем — сфальсифицированная, перепись 1939 года, — только 123 000 человек. Остальные исчезли. Частью исчезли во время «раскулачки», то есть работавшие в сельском хозяйстве и объединенные в латышских колониях-поселениях (Псковская, Горьковская область, Сибирь и т. д.). Частью ставшие жертвой мора — организованного голода. И все же больше всего латышей погибло в роковых 1937—1938 гг. Занимавших какие-либо средние, а то и крупные посты пускали по областным энкаведистским «тройкам» с применением зловещей аббревиатуры «ВМН»; партийно-государственных деятелей типа Я. Рудзутака, А. Алксниса, В. Кнорина, Я. Берзиня и др. по Военной коллегии с той же мерой. Областная «двойка» УНКВД могла вынести приговор, но медлить с исполнением; зато Военная коллегия не тянула — в ночь по вынесению приговора их расстреливали. Занимаемые высокие посты и вкуче с национальностью требовали высшего суда и скорой расправы. Что же касается большинства латышских стрелков, рядовых участников сталинского строительства социализма, то их пропускали по «двойкам» (это обозначение «суда» вы встречали в списках картотеки). «Двойкой» именовалось постановление НКВД и Прокуратуры Союза. Такие списки я видел, с ними работал. Представим себе перечень латышских фамилий в количестве 150—200 человек, подготовленный каким-либо управлением НКВД области, откуда они были «изъяты». Всем предъявлялось обвинение в шпионаже в пользу буржуазной Латвии, организованном вредительстве на производстве, создании базы для вторжения захватчиков на случай войны и т. д. И вот подготовленный список направлялся в Москву, где Ежов с Вышинским (Нарком внутренних дел и Генеральный прокурор СССР) красными карандашами накладывали резолюции — «К ВМН». Все. Расстрелы шли следом.

Исходя из перечня установленных крупных дат массовых расстрелов латышей по постановлению НКВД и Прокуратуры Союза ССР, следует, что с

5 января 1938 года по 20 июля того же года были проведены 15 расстрельных акций, в ходе которых легли в могилы 3680 человек.

Комментарии излишни.

По директиве НКВД СССР от 24.06.38 г. из РККА увольнялись поляки, латыши, немцы, литовцы, финны, эстонцы и другие уроженцы за границы и связанные с ней. Кроме того, в течение 1937—1938 гг. латыши, литовцы, эстонцы высылались из Москвы, Ленинграда, других крупных городов в места спецпоселений УНКВД.

Декабрь 1937 года. Для большинства находящихся в СССР латышей он оказался роковым. Видимо, увязан этот месяц был с циркуляром НКВД СССР всем областным управлениям госбезопасности, предписывавшим брать всех латышей по стране в массовом порядке. Мне, например, стали известны следующие, наиболее крупные даты арестов по Москве и Ленинграду за декабрь 1937 г.:

01.12.37 (Ленинград)

03.12.37 (Москва)

05.12.37 (Ленинград) — День Сталинской конституции!

07.12.37 (Москва)

09.12.37 (Москва, Ленинград)

12.12.37 (Москва, Ленинград)

15.12.37 (Москва, Ленинград)

Арестовывали и раньше декабря 1937-го и позднее, но беспрецедентный пик в несколько тысяч — людская дань

с обеих городов за месяц, пришелся на проклятый декабрь 1937 г.

Завершая свое горькое послесловие, считаю нужным обратиться ко всем читателям «Даугавы».

Публикация избранных материалов моей картотеки закончилась (избранных — журнал мог дать лишь символическую долю латышского раздела), но продолжается дальнейшая работа. Опубликованные списки не свободны от досадных пробелов, неточностей, о чем автор искренне сожалеет, но надеется на помощь родных, близких пострадавших, всех читателей в продолжение начатой работы. В начале 1990 года я приезжаю в Ригу и буду готовить к изданию словарь «Люди Латвии» (Опыт мартиролога репрессированных). На сегодняшний день мною собран объемный материал примерно на 6 тысяч человек — уроженцев Латвии. Любые дополнительные сведения, уточнения, дополнения от родственников, близких репрессированных мне крайне пригодились бы в выполнении главной задачи — подготовки к изданию книги. Поэтому если кто-то хотел бы мне помочь в данной работе, возможно, пополнить готовящийся к печати материал по уроженцам Латвии, пожалуйста, присылайте документы, сведения о репрессированных по адресу:

117313, г. Москва, Ленинский проспект, 90, кв. 95. Юрасову Дмитрию Геннадиевичу.

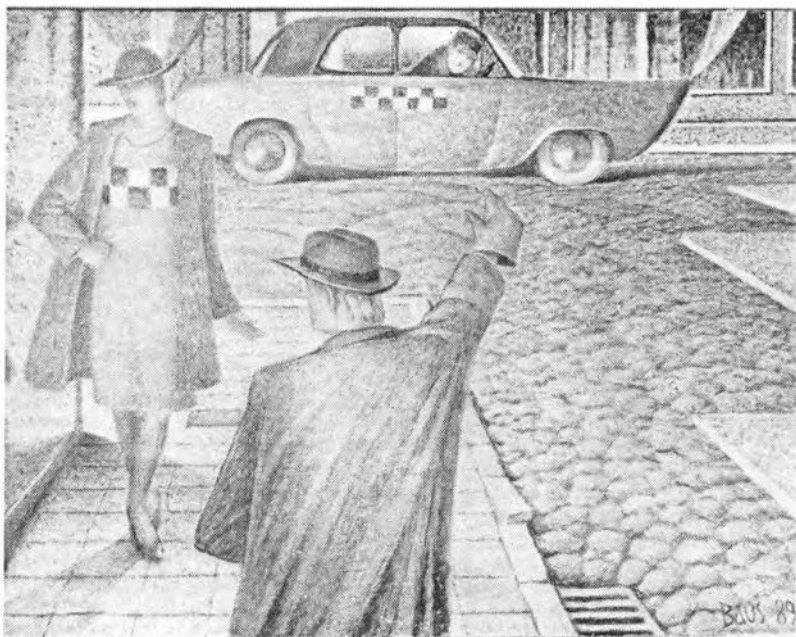


Аусеклис Баушкеинекс. Кража ребенка

ПО ПОВОДУ ЛЕТНЕГО РЕВАНША

Если 1 июня на Съезде народных депутатов СССР известные сторонники революционной перестройки Ю. Власов, Ю. Черниченко, Е. Евтушенко рассказали, как мы дошли на 45-м году мирной жизни до карточной системы, то на следующий день обиженные консерваторы взяли реванш и, тщательно, по-военному, отрепетировав каждый шаг, устроили академику Андрею Дмитриевичу Сахарову настоящую обструкцию, вооружившись весьма острой афганской темой.

Тошно было смотреть на эту сцену, когда Сахарова почти вынудили признаться в любви к Вооруженным Силам. Наверняка в этот миг Сахаров чувствовал себя на съезде так же, как Галилей перед инквизицией. Спрашивается, почему же Саха-



Аусекпис Баушеничешекс. Хелло, ганси!

ров или любой другой гражданин СССР должен любить министра обороны, генералов и офицеров больше, чем министра водного хозяйства и его работников? Ведь мы критикуем, разбирая по косточкам, Минводхоз и его деятелей, а иные министерства даже разогнали совсем! Министерство обороны отличается от других министерств только тем, что оно пожирает львиную долю национального дохода страны. Одной из главных причин нашей нищеты являются именно огромные расходы на содержание армии. А кое-как названные на съезде 77 миллиардов рублей — лишь видимая надводная часть айсберга.

В течение 70 лет мы воспитывали своих граждан в духе беспредельной любви к армии с помощью песен о том, как «защитна гимнастерка» сводит с ума колхозных девчат. Сейчас мы уверены, что на нас никто не нападет, ибо у нас есть мощная термоядерная бомба, кстати созданная с активным участием Сахарова. И вообще, на мой взгляд, по степени любви населения к армии сейчас можно судить об уровне интеллектуального и материального развития этой страны: чем сильнее любовь, тем темнее страна. В США, например, солдат называют «джи-ай», что означает «клевенное имущество».

Из-за строгой секретности у нас люди не знают стоимости одной атомной подлодки и стратегического бомбардировщика, неизвестны даже расходы на содержание одного маршала: наверняка этих расходов вполне хватило бы на пенсионное обеспечение сотни старух-колхозниц, которые ишачили всю жизнь бесплатно, а теперь получают по 10—20 рублей пенсии.

Да, стыдно было видеть на съезде тот массовый гнев, с которым обрушились на академика Сахарова войны-афганцы и их матери, и ни один из них даже не упрекнул Брежнева, пославшего их на эту позорную войну. Причем многие из них клеймили Сахарова от имени погибших, будто эти парни умерли там, с удовольствием выполняя свой «интернациональный долг». Термин этот остался от брежневской военной доктрины и должен исчезнуть из нашего лексикона, как антигуманный.

Многие советские люди никак не могут, а может, и не хотят понять, что войны-афганцы оказались как бы заложниками той же самой пресловутой брежневской военной доктрины. Солдаты здесь ни при чем, они выполняли приказ. Для анализа перешедшего психологического состояния бывших воинов-афганцев можно вспомнить одно бандитское правило: чтобы человек навсегда связал свою судьбу с преступным миром, сперва посылают его на «мокрое дело», после которого он будет оправдывать любые преступления своего «хозяина». За примерами ходить далеко не надо. Сам Сталин уничтожил миллионы невинных советских людей по этому бандитскому правилу. И Брежневу оно пригодились. Ведь не зря даже многие инвалиды-афганцы не осуждают ни Брежнева, ни его правительство. Хуже того, многие из них ругают не только Сахарова, но и Горбачева.

Такие нападки на Сахарова происходят еще и оттого, что многие афганцы и их родители не знают о том, что Сахаров был смелым противником этой грязной войны с самого ее начала, за что отбывал семилетнюю ссылку в Горьком. Поэтому неплохо было бы издать книгу о трудах и о правозащитной деятельности академика Сахарова, чтобы народ знал, кто есть кто.

Спасибо телеоператору за то, что он показал не только бездушных ораторов, «избивающих» беззащитного правозащитника, но показал и озлобленные лица маршалов и генералов. Организованность этого процесса была понятна сразу же, как только первый выступающий «афганец» С. В. Червонопиский, депутат от ВЛКСМ г. Черкассы, передал самовольно трибуну в конце своей речи другому «афганцу», нарушив очередность выступающих на Съезде. Потом пошла типичная для наших партсобраний цепная реакция единомышленников — генералов, офицеров и даже женщин — против Сахарова, напоминающая травлю невинных людей сталинско-брежневских лет.

Хотя на сегодня с помощью М. С. Горбачева выведены советские войска из Афганистана и война эта почти что признана очередной авантюрой брежневского правительства, отдельные преступления этой войны пока еще не раскрыты, являются секретными. О них расскажут очевидцы этих событий лет через десять или, может быть, раньше, когда выйдет срок действия секретности. Между прочим, смелое нападение на этом съезде маршала Ахромеева на академика как раз рассчитано на это: ведь когда еще раскроются все тайны афганской войны.

И на этот счет есть у нас исторический опыт. Уже прошло 45 лет после окончания Великой Отечественной войны, а тайны всплывают до сих пор. До сих пор еще не

все знают, как погибли наши окруженные войска в Волховских лесах и других местах... Мало ли было на той войне расстреляно без суда солдат из-за пресловутого сталинского приказа «Ни шагу назад!».

Исходя из этого незачем было «пытать» академика Сахарова на съезде. Для раскрытия тайн афганской войны требуется время и участие в разбирательстве этого дела независимых международных журналистов, которые, рискуя жизнью, документировали для потомков отдельные факты этой преступной войны.

Л. Закиров,
г. Казань.

«ТАК ЧТО ТАКОЕ «НЕПОГОДА?»»

Статья Е. Н. Бича («Даугава», № 7) интересна, хотя кое-что показалось мне чрезмерным. Частность, о которой я пишу, не имеет отношения к основным положениям статьи, но считаю необходимым о ней упомянуть.

Автор ужасается, что 70 процентов телезрителей готовы взять на себя исполнение смертного приговора над насильником и убийцей. Здесь Е. Н. Бича и многих солидарных с ним знаменитых деятелей науки и культуры я бы обвинил в растлении общественной морали. Из-за них законы не могут стать преградой росту преступности. О примате социальных условий мы слышали и от тех теоретиков, которых критикует Е. Н. Бич, но в отношении убийц и насильников не стоит искать оправданий в злодеяниях Сталина и прочих. Жертвы революции и сталинизма — это одно, а преступники, бандиты, насильники — это совсем другое.

По телевизору говорили о группе молодежи 16—20 лет, которые два дня издевались над девушкой, насиловали ее, а потом зарезали. Бич рекомендует всех воспитывать. А я бы лично всех расстрелял

Владимир ЛИПЕЦ, врач, 61 год.
г. Москва



Аусеклис Баушкенекс.
На горке

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДАУГАВА» ЗА 1989 ГОД

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

ГИНЗБУРГ Евгения. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. I — 3, II — 3, III — 3, IV — 3, V — 3, VI — 3.

ГУДАНЕЦ Николай. При попытке взлететь. Повесть. X — 52.

ЗАРИНЬШ Карлис. Два рассказа. Перевел Леон Гвин. XI — 3.

ЗАРИНЬШ Маргерс. Тревожные тридцать три. Фрагменты из романа. Перевела Жанна Эзит. Вступительная статья Андриса Якубана. X — 3.

КАЙЯК Владимир. Паук. Рассказ. Перевел Владимир Багиров. II — 49.

КАЛНДРУВА Мартиньш. Ниске. Рассказ (из цикла «Евреи моего детства»). Перевел Леон Гвин. V — 50.

КАЛНЫНЬ Янис. Портрет в тронном зале. Рассказ. Перевела Виола Ругайс. VI — 45.

КРАСАВИЦКАЯ Мария. На родине. Повесть. XII — 25.

ЛИВС Эгон. С войны. Фрагмент из книги воспоминаний «Шрам на внутренней стороне губы». Перевел Леон Гвин. Вступление Эрика Ханберга. IX — 42.

МАКАРОВА Елена. Послезавтра в Сан-Франциско (Тетрадь для технических записей). IX — 11.

НЕЙБУРГА Андра. Знаки. Рассказ. Перевел Андрей Левкин. VII — 7.

ОЛБИ Эдвард. Лолита. Пьеса по роману Владимира Набокова. Перевел с английского Илан Полоцк. VII — 21.

СОЛЖЕНИЦЫН Александр. Архипелаг ГУЛАГ. Главы из романа. X — 77, XI — 37, XII — 77.

ХЕЙДОК Альфред. Звезды Маньчжурии. Рассказы. Предисловие Роальда Добровенского. XII — 3.

ЧАКЛАИС Марис. Мальчишки, спички захватили! Перевела Раиса Золотова. I — 48.

ЯКОБСОН Валентин. Ой, мамочки, мамулечки!.. Рассказ. Перевел Леон Гвин. IV — 40.

ПРОЗА 8-ГО НОМЕРА

ЛЕВКИН Андрей. Эзотерика соц-арта. Тестировка X. Мемлинг как абсолютный дух небольшого размера. Мы вас вычеркиваем, сэр. VIII — 17.

РУДНЕВ Вадим. И свет одинокий (ор. 9). VIII — 48.

ЭЛСБЕРГС Клавс. Какой-то Цербер. Приличный дом со сторожем. Третий пост. Лилии лилии лилии. Рассказы. Перевела Фаина Фербер. VIII — 3.

ПОЭМЫ, СТИХИ

БЕРЗИНЬШ Улдис. Времена года. Перевел Сергей Морейно. XII — 22.

ГУДАНЕЦ Николай. Владелец минут. I—59.

ЗАЛИТЕ Мара. СУД. Драматическая поэма с цитатами (фрагмент). Перевод и предисловие Роальда Добровенского. III—47.

ЗИЕДОНИС Имант. Из книги «Ре, ка». Перевод и предисловие Давида Самойлова. II—44.

ИМЕРМАНИС Анатол. Кафе художников. Перевела Наталия Бабицкая. V—58.

КЛИМЕНКО-РАТГАУЗ Татьяна. Стихи разных лет. VII—19.

КРИЛЕ Велга. Таволга. Перевела Людмила Гребенщикова. I—44.

КУННОС Юрис. Улица Гертруды. Перевел Сергей Морейно. XI—26.

МОРЕЙНО Сергей. Дело к осени. XI—34.

НИКОЛАЕВА Ольга. Вечерняя радуга. II—59.

РАНЦАНЕ Анна. Сестра полынь. Перевела Ольга Петерсон. VII—3.

РОКПЕЛНИС Янис. От гибели всего на волосок. Перевел Сергей Морейно. IV—34

СКАЛБЕ Арвид. Эта наивная вера. Перевела Наталия Бабицкая. V—43.

СКУЕНИЕКС Кнут. Твое окно. Перевод и предисловие Юлия Даниэля. VI—36.

ЧЕРЕВИЧНИК Леонид. Стихотворения. Переводы. IX—37.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

РАЙНИС Ян. Даугава. Фрагменты. Перевела Людмила Азарова. Предисловие Роальда Добровенского. IX—3.

ЧАК Александр. Стихотворения. Перевел Давид Самойлов. X—46.

ВСТРЕЧИ

АЙЗЕНШТАДТ Вениамин. Стихи ухода. Вступление Елены Макаровой. XII—71.

БАБИЦКАЯ Наталия. Комната. V—47.

ДАНИЕЛЬ Юлий. Еще одна песенка. Предисловие Кнута Скуениекса. VI—40.

МИКУШЕВИЧ Владимир. Полуночица. IV—65.

САМОЙЛОВ Давид. Девять стихотворений. Вступительная статья Юрия Абызова. X—72.

СТРАНИЦЫ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

Дайны. Перевел Давид Самойлов. V—60.

ПОЭЗИЯ 8-ГО НОМЕРА

ВАРЯЖЦЕВ Савва. Разрозненные стихотворения. VIII—11.

ИВЛЕВ Алексей. Чужие стихи. VIII—44.

ЛИНДЕРМАН Владимир. «Мы шли в атаку...» VIII—103.

РУБИНШТЕЙН Лев. Мама мыла раму. VIII—101.

ЭМИЛИЯ. «Что я могу знать...» VIII—15.

ПУБЛИЦИСТИКА

АБЫЗОВ Юрий. Букет имен (Русская культура в Латвии — ее вчера и сегодня). III—69.

БИЧ Е. Н. Так что такое «непогода»? Открытое письмо Борису Васильеву. VII—65.

БРИСКИН Яков. Какую выберем дорогу? III—74.

- ВЕСТЕРМАНИС** Маргерис. Высшая правда. III — 100.
ВИТКОВСКИС Янис. Самостоятельность и пути к ней. III — 81.
ДОРЕНСКАЯ Ольга. «Бесы» нашего времени. II — 82.
ЖДАНОК Александр. Межнациональный конфликт или идеологическая борьба? XI — 57.
ЗАГОРОВСКАЯ Ксения. Какие дети времени нам нужны? XII — 93.
КЛЕЦКИН Абрам. «Lūdzu!», или Субъективные заметки о латышском. II — 64.
КОКИС П. П. Неприкосновенность гранита. VII — 47.
КОРЕНБЛАТ И. Король был гол. V — 62.
КРАМЕР Ада. Ссылка из Латвии. IX — 89.
МИРОЛЮБОВ Иван. После раскола. IV — 68.
НАЛИВАЙКО Инта. Исторические гербы латышских городов. II — 92.
НЕЛИПА И. А. Перестройка или начало конца? XI — 75.
ОСИН Артемий. Обречена на исчезновение. II — 73.
ПОРТНОВ Александр. Милитаризм. IX — 83.
РУДНЕВ Вадим. О билингвизме в культуре. К статье Дзинтры Хирши. I — 68.
СТРАНГА Айварс, **ВИРСИС** Мартиньш. Сороковые, роковые... VI — 68.
ФОРСАЙТ Фредерик. Досье «ОДЕССА». Перевел с английского Илан Полоцк. III — 87.
ХИРША Дзинтра. Латышский язык в Латвии. I — 63.
ЮРАСОВ Дмитрий. Механизм террора. Предисловие И. Полоцка. IV — 107. **Картотека Юрасова.** IV — 117, V — 114, VI — 120, VII — 122, VIII — 125, IX — 116, X — 122, XI — 118, XII — 111.
ЮРАСОВ Дмитрий. «Сутками и литрами». Необходимое послесловие автора-составителя. XII — 117.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

- ШЕРШОВ** Вадим. Эхо трагедии. I — 70.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

- ПОЛОЦК** Илан. Черные костры Спитака. III — 58.
ДОЗОРЦЕВ Владлен. Послесловие к катастрофе. III — 65.

ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ

- Свидетельствует Иоахим фон Риббентроп.** Выдержки из стенограммы допроса министра иностранных дел III рейха Иоахима фон Риббентропа на процессе главных военных преступников в Нюрнберге. IX — 77.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

- КУАИН** Уиллард Ван Орман. О том, что есть. XI — 112.
ВИТГЕНШТЕЙН Людвиг. Лекция об этике. II — 98.
ГАСПАРОВ Борис М. Из наблюдений над мотививной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Окончание. I — 78.
ЗИМОВЕЦ Сергей. Дистанция как мера языка искусства (К вопросу о взаимоотношении соц. реализма и авангарда). VII — 121.
ЗОРИН Андрей. Стихи на карточках (поэтический язык Льва Рубинштейна). VIII — 100.
ЛЕТЦЕВ Виктор. Концептуализм: чтение и понимание. VIII — 107.
ЛОТМАН Ю. М., **ЦИВЬЯН** Ю. Г. Природа киносюжета. VII — 97.
НАДТОЧИЙ Эдуард. Друк, товарищ и Барт (несколько предварительных заметок к вопрошению о месте социалистического реализма в искусстве XX века). VIII — 114.
ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Хосе. Достоевский и Пруст. XI — 104.
РАССЕЛ Бертран. Карл Маркс. V — 73.

РУДНЕВ Вадим. Арнольд Джозеф Тойнби. IV — 96.

РУДНЕВ Вадим. Бертран Рассел и его «История западной философии». V — 70

РУДНЕВ Вадим. Людвиг Витгенштейн в культуре XX столетия. II — 95.

РУДНЕВ Вадим. «Назову себя Гантенбайн». Имя собственное в культуре XX столетия.

XII — 103.

РУДНЕВ Вадим. Уиллард Куайн обо всем на свете. XI — 104.

РУДНЕВ Вадим. Художественная литература и модальная логика. VII — 105.

РУДНЕВ В. П. Проза и поэзия. VIII — 86.

РУДНЕВЪ П. А. Стих и проза. VIII — 80.

СЕРЛЬ Джон Р. Собственные имена. XII — 105.

ТОЙНБИ Арнольд Джозеф. Христианство и марксизм. Перевод с английского Г. Гондельмана. IV — 97.

ТОПОРОВ В. Н. О русской культуре в Латвии. X — 105.

ШАПИР Максим. Поэзия и наука в творчестве Александра Страхова. VI — 106.

ШАПИР М. И. Русская тоника и старославянская силлабика. VIII — 65.

ШИФРИН Борис. Интимизация в культуре. VIII — 88.

МАСТЕРСТВО ПЕРЕВОДА

АЙЗПУРИЕТЕ Аманда. Песни скальда в подлиннике и переводе. IV — 104.

MEMORIA

АБЫЗОВ Юрий. Игорь Северянин — во второй жизни. VII — 81.

АБЫЗОВ Юрий. Сергей Горный — детство у Рижского канала. II — 106.

БЕРДЯЕВ Н. А. О творческой свободе и фабрикации душ. Публикация К. М. Поливанова. VI — 105.

БУНИН Иван. Окаянные дни. III — 103, IV — 76, V — 80.

ГИНЗБУРГ Лидия. Из записей 1950—1980-х годов. I — 96.

ГИНЗБУРГ Лидия. Манделштам и Пастернак в читательском восприятии 20-х годов.

Вступление Александра Кушнера. I — 91.

ГИППИУС Зинаида. Благоухание седин. IX — 107, X — 110.

ГОРНЫЙ Сергей. 1. Рига ... Торенсберг ... Зассенгоф. 2. Каугерн. 3. На Взморье. II — 108.

ЗАНДЕРС Оярс. Первопечатники Риги. I — 109.

КОПЕЛЕВ Лев, ОРЛОВА Раиса. Евгения Гинзбург в конце кругого маршрута. VI — 80.

НИКИТАЕВ Александр. Тайнопись Даниила Хармса. Опыт дешифровки. VIII — 95.

СЕВЕРЯНИН Игорь. 1. Салон Сологуба. 2. В лодке по Россони. VII — 86.

ТИМЕНЧИК Роман. Об одном из последних собеседников Ахматовой: юбилейные заметки. VI — 100.

ФЕЛЬЗЕН Юрий. У Мережковских по воскресеньям. IX — 104.

ЧИННОВ Игорь. Стихотворения. Предисловие Бориса Плюханова. VII — 91.

ЦЕМЕЛЕВА Людмила. Несколько граней З. Н. Гиппиус. IX — 100.

ОБЗОРЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИИ

АБЫЗОВ Юрий. Взгляд издалика. V — 110.

ГАЙЛИТ Гарри. Вернувшийся бумеранг. Попытка анализа новейшей латышской прозы. XI — 88.

ИВЛЕВ Алексей. «Все нормально, все в порядке ...» XI — 101.

ЛЕВКИН Андрей, РУДНЕВ Вадим. Быть или не быть. Разговор двух критиков по-неvole. VI — 111.

ЛЕВКИН Андрей. Святой, который летает сам по себе. III — 122.

ЛЕВКИН Андрей. Четыре российских «бестселлера». I — 114.

НИКОЛАЕВА Ольга. «У нас у всех в запасе были крылья». XI — 95.

ПРИЕДИТИС Артур. Накануне радикальных перемен. Перевел Андрей Левкин. V — 100.

РАВДИН Борис. Что пили англичане! IX — 96.

САВКИНА Ирина. Хроника одной конторы. Обсуждаем книгу Вадима Томашпольского «Наш дилектор Колидоров». V — 105.

- ХРУСТАЛЕВА** Ольга. Прогулки с Левкиным. VIII — 38.
ЧАКЛА Инта. Время тяжелых вопросов. Обзор латышской поэзии восьмидесятых годов. II — 116.
ШТЕЙНБЕРГ Алексей. «Дым отечества» дилектора Колидорова. V — 107.
ШТЕЙНБЕРГ Алексей. Теперь о другом ... VII — 108.
ЭМИЛИЯ. Ничего не случилось. XI — 99.

ИСКУССТВО

- Архитектура Гунара Биркерта. XI — 32.
АХМЕРОВА Альфия. Театр говорящих красок и форм, или Галерея ART. VI — 117.
ДАНИЭЛЬ Сергей. Сети для Протея (Памяти Григория Яковлевича Длугача). VII — 113.
ДИНЕРЕ Лилия. Каменный сад (письмо из Японии). IX — 99.
ДИНЕРЕ Лилия. К нашим иллюстрациям. IX — 36.
ЗЕЛМЕНИС Мартиньш. Иварс Пойканс: чем он занимается в латышском искусстве. I — 123.
КОНСТАНС З. К нашим иллюстрациям. О выставке «Акт в латышской живописи». VII — 112.
ОПУЛЕ Велга. Очерование искусства Хильды Вики. III — 110.
РУДНЕВ Вадим. Заметки о кинофоруме «Арсенал». I — 118.
РУДНЕВ Вадим. Заметки о новом искусстве. III — 118.
РУДНЕВ Вадим. Заметки о новом искусстве П. «Третья модернизация». V — 120.
ТИМЕНЧИК Роман. К нашим иллюстрациям. V — 125.
ТИРАНС Улдис. Буратино и коммунизм. X — 119.
ХРУСТАЛЕВА Ольга. Конференция как конференция. III — 114.

ДАУГАВЖУРИУМСАТСТРАН

- АРТАВС** Валдис. Нам стоять не привыкать. Стихи. Перевел В. Тепляков. II — 126.

НА ЦВЕТНЫХ ВКЛЕЙКАХ

I — Пойканс Иварс. Автопортрет; Баня'83; Тревога в уборной; Идол на глиняных ногах; Автопортрет с короной; Фигуральная композиция на фоне неведомого; Праздничное утро; Слепые спортсмены; Сводка погоды. Фото Атиса Иевиньша.

II — Исторические гербы городов Латвии. Фото Атиса Иевиньша.

III — Хильда Вика. Ранняя гостья; На работу; Осенние мотивы; Больная. Фото Мары Брашмане.

IV — Рижская Гребенщиковская старообрядческая община. Икона Господь Вседержитель; Икона св. Николы Чудотворца; Икона св. Симеона Богопримца. Фото Василия Дегтярева; Общий вид храма Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины. Фото Андриса Штамгута; Икона св. Иоанна Богослова; Икона Спаса Еммануила; Икона Богородицы Знамение. Фото Василия Дегтярева.

V — Русское зарубежье в портретах Е. Е. Климова. Наум Коржавин; Иван Елагин; Иван Шмелев; Аркадий Белинков; Александр Солженицын. Эскиз мозаики; Иван Ильин; Петр Савицкий; Николай Метнер; Николай Зарецкий.

VI — Выставка «Свободное искусство». Владимир Павлов. По мотивам нибелунгов; Игорь Леонтьев. Прогулка Харона; Александр Гинзбург. Молчание; Алексей Нежданов. Красный слон; Александр Дукуль. Возрождение. Фото Юрия Житлухина.

VII — С выставки «Акт в латышской живописи». Ансис Цирулис. Четыре женщины с кувшинами; Янис Валтерс. Омование; Екабс Казак. Купальщицы; Карлис Бренцен. Черная бахрома; Коирадс Убанс. Обнаженная; Гердерт Элиас. У зеркала. Фото Мары Брашмане.

VIII — Художник Ж. Взгляд. Из цикла «Портреты русских писателей». Фото Айвара Лиепиньша; Крик. Триптих «Петербургская история». Левая часть. Фото Ояра Мартинсона; Таня. Триптих «Петербургская история». Центральная часть; Учитель. Триптих «Петербургская история». Правая часть. Фарфор, надглазурная роспись. Фото Айвара Лиепиньша.

IX — Лилия Динере. Каменный сад. 1988. Шелкография; Великий Обитатель I. 1985. Травление на цинке; Великая Обительница II. 1985. Травление на цинке; Город I. 1988. Шелкография. Фото Вилниса Зилбертса.

X — С выставки «Угар сталинского романтизма». Плакаты: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе коммунизма!»; «Трудись с упорством боевым, чтоб стал колхоз передовым!»; «К 1950 году число школ в Москве должно быть доведено до 600 и количество учащихся до 596 тысяч»; «Своей заботой советский народ не оставит солдатских сирот!»; «Сталинскую пятилетку перевыполним!» Фото Олега Зернова.

XI — Архитектура Гунара Биркерта. Пристройка к зданию юридического колледжа Мичиганского университета. Штат Мичиган, США. 1981 г.; Здание штаб-квартиры компании «Доминос Пицца» в Анн Арбор. Штат Мичиган, США. 1987 г.; Баптистская церковь Голгофы в Детройте. Штат Мичиган, США. 1974 г.; Реконструкция площади в Хьюстоне. Штат Техас, США. 1982 г.; Музей стекла в Корнинге. Штат Нью-Йорк, США. 1976 г. Фото Яниса Эйдукса.

XII — Аусеклис Баушкенекс. Белые пятна; Праздник на заводе роботов; На выставке; Консолидация; Братишки идут; Конкурс красоты для мужчин. Фото Ояра Мартинсона.

Авторы черно-белых снимков в тексте: Лаймонис Блодникс, Мара Брашмане, Харийс Бурмейстарс, Язепс Дановскис, Артур Дубровский, Юрий Житлухин, Виктор Жук, Мартиньш Зелменис, Олег Зернов, Атис Иевиньш, Сергей Карташов, Григорий Левин, Айварс Лиепиньш, Оярс Мартинсонс, Надежда Медведева, Зигурдс Межавилкс, О. Паедайтес, Артурс Приедитис, Александр Сержант, Сергей Тодоров, Сергей Тяжелов, Лаурис Филцс, А. Шапиро, Янис Эйдукс, Гунарс Яяйтис.

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмейстарс, Олег Зернов, Янис Эйдукс

Сдано в набор 02.10.89.
Подписано к печати 30.10.89. ЯТ 06074.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 14,75 усл. кр.-отт.,
10,93 уч.-изд. л. Тираж 80 000.
Заказ № 1710. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996.

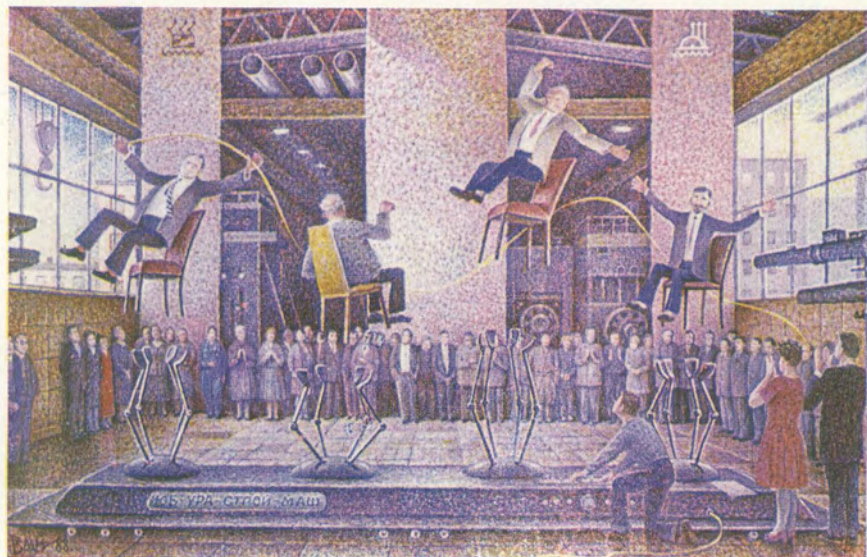
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ

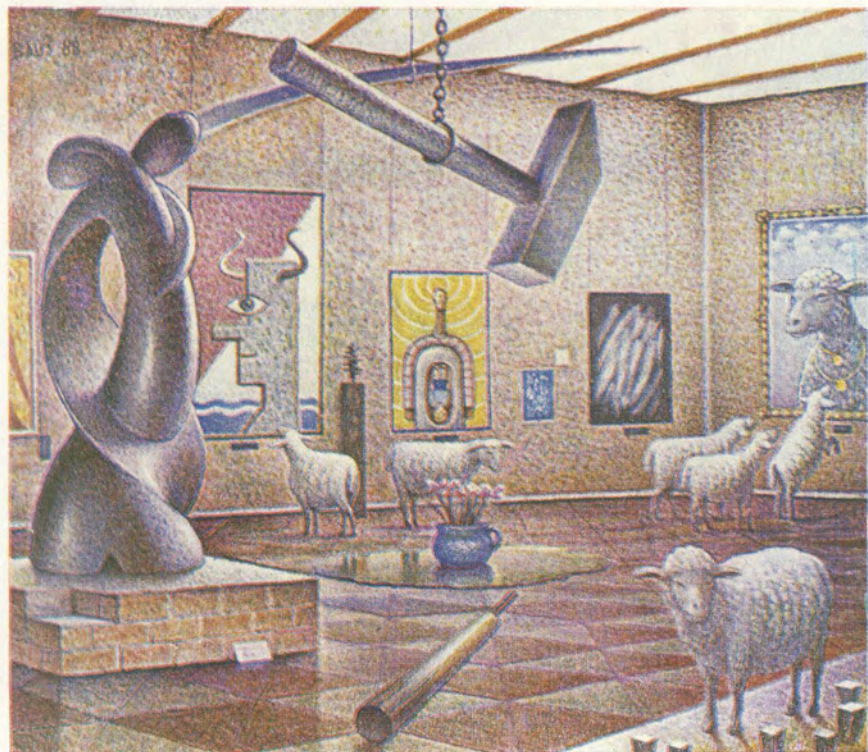
Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

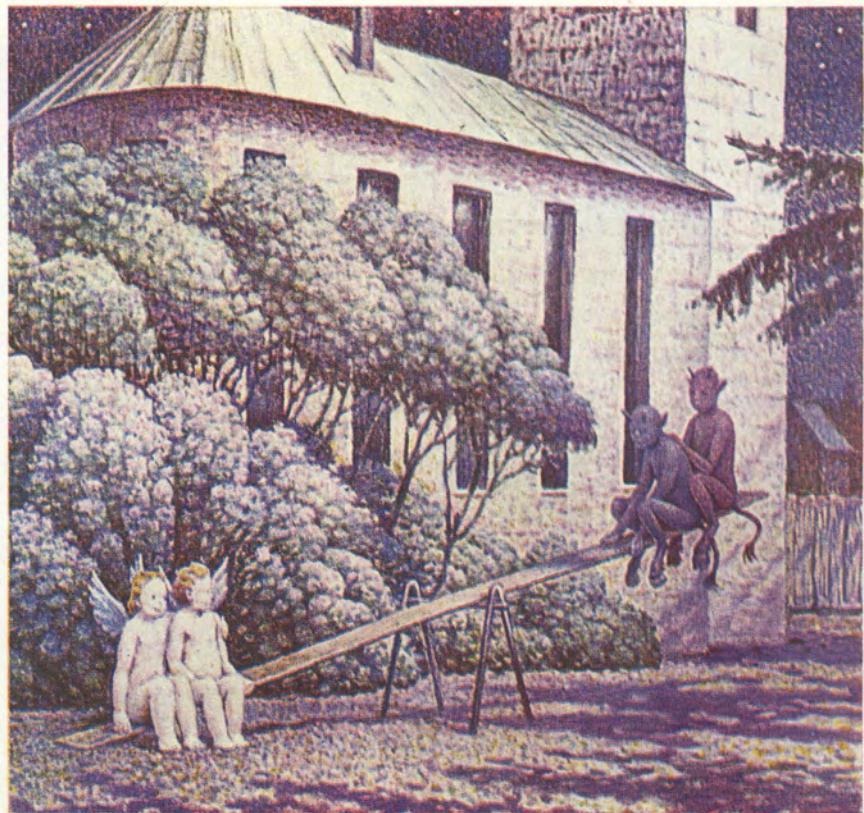




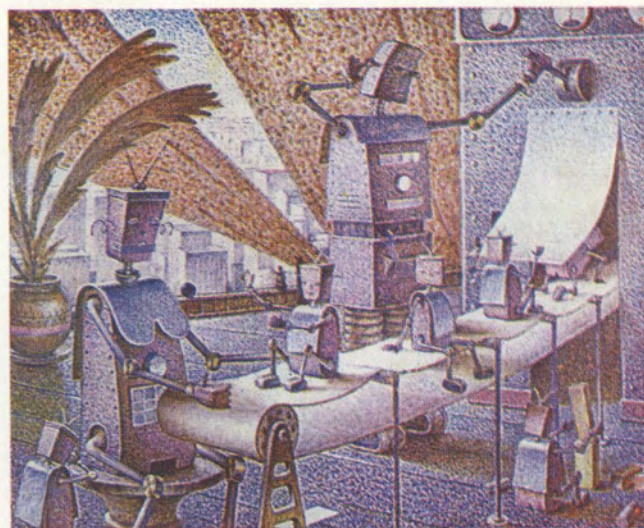
Праздник на заводе роботов

На выставке





Консолидация

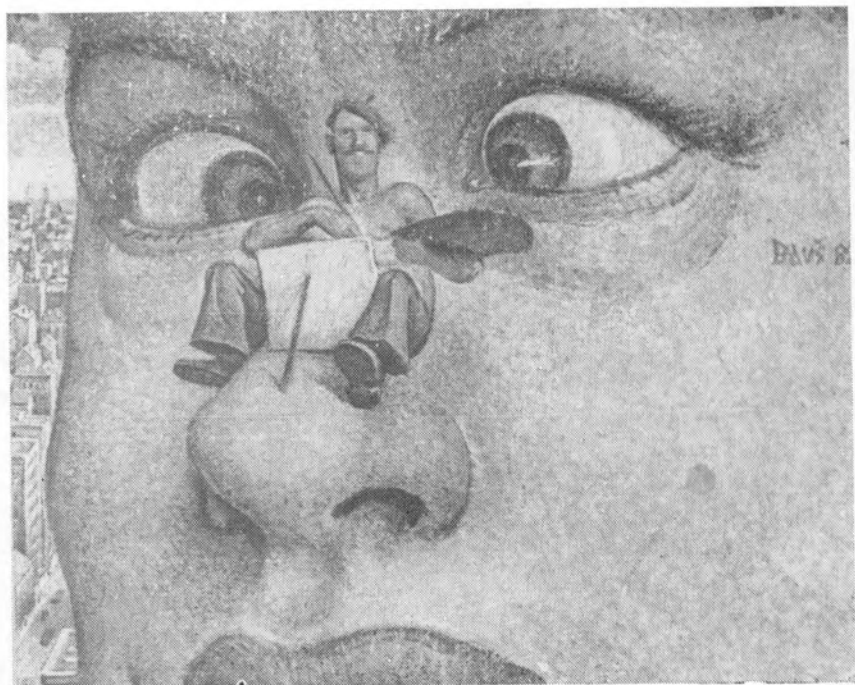


Братишки
идут



Конкурс
красоты
для мужчин.

Фото
Ояра Мартинсона



Аусеклис Баушкениенс.
Бабочна.
Фото
Хария Бурмейстарса

45 коп.

Индекс 77123